



Николай Колодин

Времена не выбирают  
книга 1

Туманное далеко

16+

Николай Колодин

**Времена не выбирают.  
Книга 1. Туманное далеко**

«Автор»

2017

## **Колодин Н. Н.**

Времена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко /  
Н. Н. Колодин — «Автор», 2017

Эта книга – записки, воспоминания о былом, ведь краеведу, историку с таким опытом и таким стажем есть что рассказать, есть что вспомнить. Двухтомник «Времена не выбирают», выпущенный в ярославском издательстве «Канцлер», посвящен матери писателя, Зое Александровне Блаженовой.

© Колодин Н. Н., 2017

© Автор, 2017

*Всякому свой час, и время всякому делу под небесами: время родиться и время умирать, время насаждать и время вырывать насажденья, время убивать и время исцелять, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время рыданию и время пляске, время разбрасывать камни и время складывать камни...*

*Из Эклессиаста*

## СКВОЗЬ ПАМЯТИ СОН

Первые воспоминания... Они смутны, расплывчаты, неясны, скорее подсознательны, чем осознанны, скорее чувственны, чем материальны...

...Помнится голубое небо над головой, и я плыву под ним, наблюдая за причудливыми облаками. Опустив глаза ниже линии горизонта, вижу согбенную спину матери в темном пальто, которая с натугой тянет детские санки, а в них кутаный-перекутаный, так что не шелохнуться, лежу я. Мать везет меня от села Карачарова в город, который называется Муром. Меня, трехлетнего, на саночках – туда, где работает подружка матери. Она, по её словам, хороший детский врач и «большой специалист по легочным болезням», а зовут её Милочка.

Она живет в нашем комсоставском доме, где, впрочем, от командирского остались воспоминания да жены-вдовы. По вечерам они смолят на кухне сигарки и поют по-украински с подголосками песни, в основном протяжные и грустные: «Вот кто-то с горочки спустился», «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина» – и подобные, полные любви и печали.

В кабинете у Милочки холодно, но меня раздевают, делают рентген: для этого, собственно, и привезли сюда, потом Милочка долго-долго слушает меня своей маленькой трубочкой, а позже выносит приговор: «туберкулез». Мать вскипает слезами:

– Что делать-то?

Милочка отвечает отстраненно, и не подруге словно, а обычной пациентке:

– Нужен пенициллин для лечения и молоко с рыбьим жиром для усиленного питания. Продай, что можешь, и купи, иначе его не спасти.

А что продавать? В доме ни одной вещи своей, даже стулья и вешалки все с инвентарным воинским номером. Одежды почти никакой. И всё же нашлось что. Перед самой войной отец подарил матери дамские часики, и не простые, а золотые, Сломались они моментом и валялись в коробке с пуговицами, иголками, нитками и дождалась часы часа своего. Именно на них был куплен пенициллин. Что было продано на молоко и рыбий жир, не помню. Но выходили мать с Милочкой меня, я ожил и выжил, хотя болел часто и в дошкольном детстве перенес все мыслимые и немыслимые болезни от обычной скарлатины и свинки до экзотической малярии, которая в Муроме была не столь редкой.

Из всех свалившихся на меня медицинских напастей запомнил одну: закрывались глаза. Закрывались, и все. Но война, никаких больничных, как, впрочем, и выходных, и отпусков, – ничего, только работа по 12 часов в смену. Мать оставляла меня одного, я не боялся и даже, напротив, ждал её ухода. Глаза не все время были закрыты, время от времени веки приоткрывались узкими щелочками, и тогда я начинал обшаривать нашу довольно просторную, практически без мебели, комнату в поисках съестного.

Уходя, мать резала пайку хлеба на три равные части: «На завтрак, на обед и на ужин». Я согласно кивал, слушая её наставления. Как только закрывалась дверь и стихали шаги на лестнице, потом хлопала входная дверь, набрасывался на хлеб, особенно соблазнительный на ослепительно чистой тарелке с Красной звездой и вензелем с буквами «КА», то есть Красная Армия. Все три порции уничтожались махом, наступало сытое блаженство, но ненадолго,

потом голод приходил снова, и я начинал кружить по комнате в поисках хоть чего-нибудь, что можно съесть.

С левой стороны от двери стоял большой шифоньер, массивный и тяжелый, с двумя створками. Одна, большая, открывала пространство для платьев, пальто и костюмов, и было то пространство пустым, если не считать двух-трех материнских платьев. Меньшая створка прикрывала полки, на которых складывалось постельное белье, посуда, съестные припасы (хотя припасы – громко сказано), но тут хранились соль, какая-никакая крупа, горох, чечевица. Обычно все лежало на самой верхней полке. Надеюсь, понятно почему!

И вот как-то, пробираясь по этим полочкам снизу вверх (откуда только сил в руках хватало цепляться!), добрался до самой верхней и, схватив первое, что попало под руку, не видя еще этого, я опрокинул на себя посудину с каустиком. Была в войну в обиходе такая едучая щелочная жидкость, заменявшая мыло. Каустик вылился на меня, я заорал изо всех сил. Прибежала соседка – тетя Дуся Тарасенкова. Вместо того чтобы успокоить и утешить, она обматерила меня всеми известными и еще неизвестными, но, чувствовал, нехорошими словами, шлепнула под зад и потащила на кухню – под кран.

Тетя Дуся – отдельная страница моего детства. Полная, черноволосая хохлушка, необычайно добрая, веселая, голосистая, она обладала одним незабываемым качеством – была страшной матерщинницей, и я весь свой сегодняшний запас ненормативной лексики за очень редким исключением почерпнул в раннем детстве именно от неё. Не раз «радовал» возвратившуюся с работы мать новыми словечками с оптимистичной Дусиной интонацией. Мать приходила в ужас, сразу шла к соседке:

– Дуська, ты чему парня учишь?

Ответом Дуся сражала наповал:

– Твой особенный что ли, мои байстрюки слушают, и ничего!

Те, кого она называла так ласково, были малолетние сын и дочка, постоянные спутники по детским играм, почти ровесники.

А еще Дуся замечательно, как, впрочем, наверное, все хохлушки, пела. И когда, пригорюнившись, командирские вдовы собирались на кухне (может, и «замахивали» чего для настроения, не исключая), затягивали свою любимую «Тонкую рябину», то Дуся вела партию. Кухня только подпевала ей, и было это так щемяще грустно, что я обычно плакал, тогда все наперебой начинали меня утешать и легко добивались этого.

И еще Дуся выводила меня из транса, в который впадал во время грозы. При первых раскатах грома я не знал, куда спрятаться, забивался под стол, под кровать, в шифоньер. Если и того казалось недостаточно, выбегал из комнаты, чтобы укрыться за огромной общей кухонной плитой. И, не приведи бог, если открыты окна. Тут следовала настоящая истерика. Я плакал, кричал, бился о пол, требуя закрыть окно. Дуся успокаивала просто и разом: влепив затрещину, она прерывала поток рыданий и тут же тащила к окну с тем, чтобы я сам и закрывал его. А мне боязно. Постепенно проявлять свои эмоции стал более умеренно, во всяком случае, скрытно от Дуси. К моменту школьного периода грозы бояться перестал.

### **На военной «продленке»**

Свой детский садик я вспоминаю как что-то не очень светлое, не очень теплое и не очень сытное. Мы находились в нем круглосуточно, и не потому, что наши мамы не хотели видеть нас. В войну работали по двенадцать часов без выходных и отпусков до самой победы все четыре года. В случае с матерью все зависело от командира части, и он время от времени отпускал женщин домой постирать, помыться, прибраться и с детишками увидеться. Но встречи, нами так ожидаемые, были очень краткими.

Маленький дворик нашего детсада, обсаженный вдоль забора акациями, напоминал выбитый солдатский плац: ни одной травинки. Мы вылущивали её всю, до последнего стебелька, еще по весне и съедали. Вообще жевать мы могли круглые сутки и всё, что придется. Во всяком случае, не помню такой зелени, которой бы мы не попробовали. И что самое удивительное, без каких-либо поносных заносов, коими то и дело страдают нынешние ребятишки. То ли мы наподобие собак и кошек могли выбирать полезную для здоровья травку по запаху или каким-то признакам, то ли просто бог щадил нас, детей войны.

Мы росли бледными, тощими, пронырливыми и находчивыми. Мне, к примеру, не хочется сидеть в группе, и я обращаюсь к воспитательнице с просьбой отпустить меня в воинскую часть. Она, естественно, спрашивает:

- С какой стати?
- Да командир части позвал, – отвечаю, не моргнув глазом.
- И зачем же?
- Так в клубе сегодня кино новое...
- И сам командир позвал?
- Сам лично, – подтверждаю я.
- Ну, иди.

Она отпускает меня, предполагая, что у командира части какие-то виды на мою мать. Я действительно бегу в клуб. Кино уже началось. В темноте пробираюсь к первому ряду и ложусь на пол.

К военным, понятное дело, у нас отношение особое. И, едва заслышав громкое пение и грохот ступающих в такт сотен ног, мы, если находились на улице, мигом взлетали на забор, чтобы посмотреть на марширующих. А у меня уже и свои знакомые среди них были. И как-то, желая поприветствовать одного из них, я, взмахнув рукой, свалился с забора. К несчастью, не в наш дворик, а на улицу. Внизу меня ждала брошенная доска с торчащим гвоздем, в который головой бедовой и врезался. И никаких серьезных последствий, только шрам на затылке.

Вспоминается темная и унылая столовая, где нам для поднятия аппетита, хотя, казалось бы, чего уж его поднимать, заводили на патефоне пластинку с песней «Полюшко-поле».

Даже очень голодные, мы не любили «садишковскую» еду. Трудно это объяснить, но так было. До сих пор ощущаю вкус и запах рыбьего жира, которым потчевали нас всю войну, да и в послевоенные годы тоже. Наш главный витамин сопровождал, кажется, всему, им приправляли и суп, и кашу, и картошку, разве что чай обходился без него. И при одном только запахе «витамина жизни», нам, как тем девушкам в песне про «полюшко-поле», становилось грустно, и тогда няня заводила новую пластинку с песней «Эх, дороги, пыль да туман...».

Музыкальная добавка к рациону заставляла съесть самые невкусные супы и каши до последней ложки. Патефон мы обожали.

Скоро я принес в садик частушку, подслушанную у тети Дуси Тарасенковой. Она всем пришлась по душе, и, когда я начинал мурлыкать, все, даже не очень еще и говорить-то умевшие, с воодушевлением подхватывали:

- Как у нашей Нинки
- Новые ботинки,
- А на жопе пирожок
- На две половинки...

При всем том частушка не была случайной. В группе, действительно, имелась девочка Нина, очень нравившаяся мне. Даже кровати наши стояли рядом, но... Она меня не замечала. Примирение произошло где-то ближе к выпускной группе. Я даже пригласил её после садика к себе домой, и она пошла. Мать, увидев нас на пороге, удивления не показала, спросив только:

- Это все, больше никого?

Мы поиграли, попили чаю, и я пошел проводить её до входной двери. Дальше, как я считал, провожать не требовалось: Нина жила в соседнем доме. Я заботливо подал ей пальто с капюшоном, помог одеться, в общем, всё как полагается в лучших домах.

На другой день мать Нины, работавшая с моей в одной воинской части, заметила вдруг:

– Чего это моя Нинка вчера пришла от вас с куском хлеба в капюшоне?

– Так, наверное, Колька мой чувства свои решил показать, – среагировала мать.

На том инцидент исчерпался, хотя я ожидал худшего.

## **Корни**

Минуя детали тогдашнего быта, хочу обратиться к предкам своим. Отец – Николай Васильевич Колодин – из русских казаков юга России, в детстве беспризорничал, из чего можно сделать вывод, что родителей по какой-то причине к тому времени не имел. Зато был старший брат, то ли министр, то ли замминистра в одной из Закавказских республик. Понятно, родственник из беспризорников и полууголовников не очень приличествовал, и когда милиция где-то прихватывала моего батяню, высокопоставленный брат забирал его, откармливал, обмывал, одевал, обувал, после чего тот снова сбегал. Так продолжалось, пока брата-министра не припекло. Когда в очередной раз пришло сообщение о задержании младшенького, старший из Колодиных не только, как обычно, отмыл, накормил и придел его, но и силой заставил школу кончить. Затем помог поступить в Высшее командное артиллерийское училище в Ленинграде и тем самым определил дальнейшую его судьбу. Военная служба оказалась тому по плечу и по душе.

Ко времени образования нашей семьи он имел чин капитана и занимал, как рассказывала мать, должность заместителя командира полка по боепитанию, к тому же разведен и старше её чуть ли не вдвое.

На мои вопросы, каким отец был в жизни, мать обычно грустно задумывалась и говорила: аккуратный, обязательный, веселый в компании и еще умел прекрасно жарить колбасу с луком. Запомнилась ей почему-то именно колбаса.

В 1941 году, перед тем как двинуться вместе со своим полком на фронт, отец сходил в загс, зарегистрировал своего только что рожденного сына на свою фамилию и отбыл к местам боевых действий. Время было тяжелое, письма редкими. Тем более радостным стал приезд его на побывку в 1943 году. Он, опять же по словам матери, очень радовался сыну, без конца носил меня на руках и не спускал с коленей даже за собранным по радостному поводу столом. А вскоре вновь уехал на фронт. Вроде бы опоздал на двое суток, за время которых как раз началось наше наступление. Опоздание сочли за дезертирство. Отца разжаловали и отправили в штрафную роту искупать вину кровью.

И отец исчез. Навсегда. Осталась только фотография, на которой он увековечен вместе с ординарцем. Оба в ладно пригнанной форме, еще без погон. У отца в петлицах кубики, у ординарца они пустые. Один – в фуражке, другой – в пилотке. Вытянувшись во фронт, смотрят в камеру не мигаючи. Снимок сделан сразу же после выхода полка из окружения (то есть еще до побывки), за что, собственно, и награжден он был двухнедельным отпуском. На обратной стороне фотографии сделанная рукой отца подпись: «Как видите, здесь позы скромные!» А у самого глаза осоловелые от «принятого на грудь». С юмором батя.

Позднее, лет в пятнадцать, через военкомат я попытался тайком от матери узнать о нем хоть что-нибудь. Месяца через полтора получил повестку, в которой меня просили прийти, чтобы получить ответ по интересующему вопросу. Точка. Что же все-таки удалось выяснить? Едва дождавшись возвращения матери с работы, я с радостью показал ей повестку. Реакция была, хотя и ожидаемой (не зря же я проделывал всё тайно), но не настолько же. Вспыхнув, как огонь, она закричала сквозь слезы:

– Значит, пока я тебя, дохляка, выхаживала, отец не требовался, а вырос, подай его...

Она долго не могла успокоиться, плакала и кричала. Я не выдержал, разорвал повестку. Так до сих пор ничего о послевоенной судьбе отца не знаю. Мыслью, конечно, что не все у них с матерью ладно было, иначе чем объяснить, что она ни одной попытки не предприняла, чтобы выяснить судьбу его? Потому так мало знаю о нем и родне его.

То же самое и с родословной матери. Здесь основные сведения касаются моего деда – Александра Егоровича Блаженова. Вроде бы имелся у него в Ростове зажиточный дядя, из купцов, владелец дома с магазином. Александр же Егорович – обычный крестьянин, зимами подражался на заработки в Питер. Но деньги у него не задерживались по причине слабости к вину. Более того, не однажды возвращали его из Питера по этапу, как полностью безденежного. И будто бы дядя каждый раз помогал ему встать на ноги.

Остепенился, только женившись. Появились две дочки – Надежда и Зоя. Дом наполнился теплом и радостью. И вмиг лишился всего. Неожиданно, заболев плевритом, умерла молодая жена. Лежала она в губернской земской больнице в Ярославле. Когда пришло извещение о смерти, началось весеннее половодье. Александр Егорович с санками отправился в город. Закутал в одеяла покойницу, привязал к санкам и повез из Ярославля в деревню под Ростовом. Встречавшиеся по дороге разливы рек и ручьев переходил, привязав сани с покойницей к спине. И так до самого дома. «Вся спина у него была черная, – вспоминала тетка Надежда, – а мама как живая».

Положили её в избе на стол, обрядили, как положено. Тогда и потянулись односельчане прощаться. Идут, а четырехлетняя Зоя (моя мать) на завалинке играет с куклой, напевая и пританцовывая. Бабы как глянут на неё, так в слезы.

Сердобольные односельчане и сосватали вскоре Александра Егоровича. Молодая жена – хохлушка Вера – была не в меру говорливой, суетливой и совершенно бесхозяйственной. С утра, едва отправит чугуны в печь, сразу же за порог. «Ну, пошла за песнями», – ворчал Александр Егорович.

Сам он без дела не мог и минуты просидеть. Вставал очень рано, затемно. Поднимется часа в четыре и давай таскать воду из колодца. А видел плохо, его в деревне так и звали «бизой», то есть близорукий. Воды в сенях нальет, она замерзнет, ледышки по всем ступеням. Закончит воду таскать, давай свой же след скалывать. Когда уж всё приделано, станет валенки подшивать и прочую нехитрую крестьянскую обувь.

При этом слыл на селе грамотеем, очень увлекался политикой. Мать вспоминала, как уже взрослой и самостоятельной в очередной свой приезд из Ярославля обидела его. Тот встретил дочь радостно:

– Зойка, я тут для тебя сохранил все газеты с материалами последнего партийного съезда.

Она же возьми и ляпни:

– Да мне на работе книжку дали такую, лежит неразрезанная.

Тогда страницы новых книг часто не разрезали, и приходилось делить их ножом либо ножницами.

Обиделся отец, как же так! А мать хоть читать и любила, но не про политику.

Мачеха не хотела отдавать её в школу, определив нянькой в поповский дом, что приносило какой-никакой заработок. Сама Вера при этом никогда не работала. Помогла учительница, пригрозившая подать на родителей в суд. Кое-как собрали мать в школу. Отходила она две зимы, то есть от первого снега до весеннего разлива. И все. Снова отдали в поповскую семью. Уступил отец мачехе.

Погиб он страшно и нелепо. Возвращаясь из города после продажи барана, попал под поезд. Тетка говорила: «Богатырь. Без крови пудов на восемь тянул покойный». Интересная мера человека!

Лет шестнадцати мать засобиравалась в город. В сельсовете, чтобы легче было устроиться на работу, приписали два года, потому она так и не знала точно ни года своего рождения, ни дня.

Приехав в Ярославль, остановилась у Мурашевых, бабка которых являлась родной сестрой мачехи Веры. Не то чтобы родня, но и не совсем чужие люди. Работала на фабрике «Красный Перекоп». Умудрилась, между прочим, за два года закончить в школе рабочей молодежи семилетку.

Но захотелось жизни совсем самостоятельной, и поступила она в армейский «общепит». Была официанткой. Не без гордости вспоминала, как на наркомовских учениях видела близко сына Сталина Якова Джугашвили («такой носатый черный мужик»), Ворошилова, Буденного. А лихого кавалериста и комбрига Оку (ударение на «О») Городовикова даже обслуживала за обеденным столом.

Местом жительства стал Арзамас, где я и родился. Мать не без гордости вспоминала: «Родилка, ну, прямо напротив музея Аркадия Гайдара». Затем воинская часть отца передислоцировалась в Муром. Здесь пробыли мы первые семь лет моей жизни, пока не решила мать возвратиться на родину.

### **Муромское житие**

В Муроме мы обрели новый дом и новых соседей. Поскольку поселились в нем семьи офицеров, то и называли его комсоставским. Дом деревянный, двухэтажный, на каждом этаже по четыре просторных комнаты и кухня с громадной плитой.

Кухня, кроме первоначального предназначения, служила еще курилкой и местом сбора. Здесь вслух читались письма с фронта, оплакивались «похоронки», обсуждались новости, местные и государственные.

Папирос, конечно же, никто не имел, дороговато, а потому крутили сигарки из махорки, а чаще из самосада, который покупали на базаре у селян из соседнего Карачарова, где выращивание табака стало самостоятельным и довольно прибыльным промыслом. «Такие домины отгрохали на самосаде, это в войну-то», – вспоминала мать, впрочем, не особо осуждая.

Вблизи легендарного села стояла наша воинская часть. Наша потому, что мать здесь работала поварихой, а я бегал к ней, заодно в клуб и еще бог весть зачем. Старики-старослужащие и просто поздно призванные, глядя на меня, пробежавшего мимо, хмурились, вздыхали. Остановив, гладили по голове и совали кто сухарь, кто кусок сахара, облепленный заваливающейся в кармане махоркой, что, впрочем, не делало гостинец менее сладким и желанным. Мать, узнав о прикорме, сурово поучала: «Сам не проси, сейчас всем голодно, но если дают – бери, последнее дают – от сердца, и отказ – несправедливая обида». Урок, усвоенный на всю жизнь...

Ребенком я был не очень послушным и не очень похожим на сверстников. Мать, бывало, прижмет меня к себе, гладит по голове и приговаривает:

– Любимый ты мой, странный ты мой...

Жили мы в своеобразном военном городке. Маршевые роты, готовившие пополнение для фронта, размещались за глухим забором старинной усадьбы графини Уваровой. Вспоминается старый, старый замок ли, дворец ли, но уж очень облупившийся. И полувырубленный огромный парк из высоких старых же деревьев, с аллеями, дорожками, которые в конечном итоге приводили к Оке. На ней вместе с солдатами гранатами глушил с понтонов рыбу. Ну, глушили, допустим, они, а я подбирал ту, что кверху брюхом подплывала к понтону, только бери её.

А маршировке и строевой ходьбе солдатки учились почему-то за пределами части. Каждый день мимо наших окон топали они своими ботинками, завершавшимися плотно замотанными обмотками. Впереди браво вышагивал аккордеонист Толя Пепелин, инструмент которого заменял и барабаны, и трубы. Я знал весь их походный репертуар, но чаще всего выводил

вместе с ними знаменитую: «По берлинской мостовой кони шли на водопой...». Толя Пепелин, балагур и весельчак, бывший фронтовик, попавший сюда после ранений, все не мог дожидаться отправки на фронт и, заходя к нам, жаловался матери:

– Не могу видеть тыловые хари, скорей бы на передовую, хоть отожрусь там.

И делал всё для того: командиров своих не чтит совершенно, дисциплину и Устав нарушал, когда и где только мог, частенько хаживал «навеселе», приговаривая:

– Дальше фронта не пошлют, больше танка не дадут.

Командиры попадались разные, но те, что из раненых фронтовиков, относились к солдатам по-доброму, стараясь не замечать каких-то мелких нарушений устава. Но появился замполит, то есть заместитель командира полка по политчасти, на фронте не бывавший. Всю войну отвоевал в глубоком тылу и во избежание нареканий со стороны старших командиров просто издевался над новобранцами, заставляя их подолгу маршировать с песнями во весь голос... Молодые плакали по ночам в подушку, «старики» же из фронтовиков говорили вслух: «Держись, сука! Дай добраться до фронта, там первая пуля тебе». Когда замполит в конце войны все-таки «загремел» на фронт, то погиб моментально, и пойдя разберись, от чьей пули – вражеской или своей. В нашем доме никто его не жалел.

С едой в тыловой части было не очень, и голодные солдатки шли на рынок, где попрошайничали: «Тетенька, дай хоть кусочек хлеба», но и «стырить», что плохо лежит, могли. Мать, работавшая в части поваром, вспоминала: «Начинаешь готовить, а за тобой пригляд ребят из наряда, голодных и жадных от постоянного недоедания. Рука не поднимется взять хотя бы кусок из общего котла. И страшно их, и жалко их. Устроилась как-то году в сорок третьем одна местная, карачаровская. Мы сразу предупредили её: «Только бога ради не возьми что-нибудь. Супа тарелку и каши тебе без того дадут. Здесь наешься, а для дома твоя карточка продовольственная цела». Так нет же, не выдержала, кусок маргарина сунула в лифчик перед уходом со смены. Солдаты, конечно, заметили. Сообщили на проходную. Там задержали её. Хорошо, командир полка, мужик боевой и душевный, не дал делу ход, ограничившись увольнением. А дома детей двое, и от мужа с фронта никаких вестей...»

Вспоминаю новобранцев конца войны, худющих, бледных, тонкошеих (на чем только голова держалась?), в вечно распущенных, волочащихся обмотках. Чтобы представить их, достаточно взглянуть на нынешних подростков, убавить у них весу килограммов на десять, и готов солдат 44-го года.

Призывали уже семнадцатилетних юнцов и стариков, так что собирались в одной роте отцы и дети.

В части я бывал ежедневно, убегая из садика к матери. Здесь меня знали, постовые на входе не обращали на меня никакого внимания, и я проходил в часть беспрепятственно, шлялся по парку и казармам, смотрел вместе с солдатами в клубе кино, вместе с ними ходил на футбол. Страсть эта болельщицкая сохранилась по сей день.

Там, на местном стадионе «Звезда», оставил после очередного матча свои новенькие сандалии. Не помню, почему снял, но помню, что домой явился радостный (наши выиграли!) и босой. Матери футбольные волнения неведомы, она сразу обратила внимание на ноги:

– Где сандалии?

Я пожимал в недоумении плечами. Сбегав на стадион, благо он рядом с нашим домом, ни людей, ни обуви не обнаружил. Даже поинтересоваться не у кого. Мать меня крепко «вздула». Она была горячая и вспыльчивая, но отходчивая. Только что с той отходчивости, если вначале получишь как следует под зад, а потом тебя поцелуют в щеку.

Болел часто и серьезно... Помнится, плохо держали ноги вследствие самой распространенной в голодные военные годы детской болезни – рахита. Затем были скарлатина и даже такое ныне забытое заболевание, как малярия. Видимо, хинина нахватался столько, что комары меня и сегодня не особенно тревожат. Но дело-то не только в болезнях: они давно забыты-

перезабыты. Заболев, я лишился садика и оставался дома один. Мать от службы никто не освобождал: не полагались тогда больничные по уходу за ребенком. А оставаться одному в таком возрасте тягостно.

В комнате из мебели были «КЭЧевские» (Коммунально-Эксплуатационная Часть) стол, кожаный диван с валиками и полкой «для слоников» поверху, грубо сработанный высоченный шкаф для белья и посуды да два стула. Все с металлическими бляхами, указывающими на принадлежность к воинской части и грубо выписанными номерами с тыльной стороны. К праздности все это не располагало.

Съев все, что оставлялось матерью, вначале пялился в окно. А что можно увидеть в военном городке, кроме солдат? Только собак. Потому первым словом, произнесенным мной, было отнюдь не мама, папа, баба, как это бывает у нормальных детей в нормальных семьях. Я молчал долго и только где-то года в два с половиной вдруг закричал восторженно: «Бабака». Мать, пораженная голосистостью «немого», пыталась выяснить, что же такое я сказал. А тут под окном пробежала другая псина, и я опять брякнул «бабака».

Мать, занимавшаяся чем-то домашним, бросилась ко мне:

– Что ты сказал, ну, повтори, что ты сказал...

Я и повторил, и на собаку показал. Мать отреагировала достойно:

– Славу богу, заговорил, но мог бы и с другого чего-нибудь начать.

Первое слово произнесено, дальше не остановить. Стал говорить всё без детских искажений, полноценно, чуть ли не литературно.

Вновь о детском одиночестве. Игрушек мы не имели. Но мне кто-то из соседей подарил металлического гимнаста, при заводе крутившегося на турнике. Но крутился недолго, а потому и интерес к нему пропал. За домом в нескольких метрах углублялся извилистый овраг, отделивший воинскую часть от села. В него почему-то ссыпали бракованные радиолампы только что построенного в городе радиозавода. Они-то, с заворачивающей золотистой пластинкой изолятора внутри, и стали моими игрушками.

Более всего любил рассматривать книги и журналы. Старший из моих соседских друзей по детским играм Сашка Тарасенков пошел в школу. Учился плохо, без интереса.

– Кы-а, шы-а, – мучительно тянул Сашка.

– Что получилось? – спрашивала тетя Дуся.

– Жрать охота...

Я месяца за два мучительного терзания Сашкой букваря выучил все буквы и читал не по слогам, а целыми словами.

Мать, не имевшая в своем детстве возможности для полноценного образования, всячески поддерживала во мне возникший интерес. При скудных возможностях покупала мне книги, исключительно русскую классику. Особенно помнятся две большие в мягких обложках: «Бородино» Лермонтова и «Каштанка» Чехова. Мне кажется, я и вставал, и ложился с ними. Во всяком случае, стихотворение «Бородино» уже в пять лет я знал наизусть. Страсть к литературе (низкий поклон матушке) осталась навсегда.

Хорошо помню день Победы. Все свободные от работы собрались на кухне. Раскрасневшиеся, веселые и заплаканные. На огромной общей плите разнокалиберные бутылки с вином и самогоном. На столе, в той же кухне, самые нехитрые винегреты и картошка, откуда-то взявшаяся селедка и крупно порезанный хлеб. Граненые стопки и стаканы, песни и слезы, слезы и песни в ожидании новой жизни, менее тяжелой и более радостной...

Вскоре стали приходиться демобилизованные, и первым объявился самый отпетый хулиган маршевой роты, уже в чине лейтенанта и со звездой Героя: всегда взъерошенный, полупьяный, скрипящий зубами и, чуть что, хватавшийся за наган, не сданный почему-то. Бабы при виде его завистливо вздыхали: «Вот ведь судьба, со Звездочкой, и ни одной царапины». Он в ответ только скалился.

На одном этаже с нами, в угловой комнате, поселился подполковник Иван Иванович, всегда в галифе, майке с подтяжками, потный и лысый. Завидев меня на кухне, манил пальцем к себе. Там, в комнате у окна, стоял огромный сундук, полный карамели, его трофей, вывезенный из Германии. Наверное, было что-нибудь и более значимое, но не для меня. Он снимал с моей головы феску (тогда они были обычным детским головным убором), насыпал в неё до краев карамели и тихо шептал:

– Беги к себе.

Я, счастливый, мчался в комнату:

– Мама, смотри, что мне Иван Иванович дал!

Мать комментировала загадочно и непонятно:

– Детей бы им, а так и богатство – пустяк.

Кончилась война, стали возвращаться демобилизованные мужья и отцы. Наш – не вернулся. И потому от командования воинской части пришло предписание освободить занимаемую жилплощадь. У нас долго хранилась узенькая полоска папиросной бумаги с синим почему-то шрифтом (вероятно, от синей копирки). Помню только, что командир части – Герой Советского Союза. Вот этот герой и решил за нас всю нашу будущую жизнь.

Мать засобиралась на родину, да так круто, что оставила в Муроме почти все документы, письма и фотографии. Их, довоенных и военных, всего несколько в моем альбоме. Я смотрю и вижу, какая она все же была красивая и гордая, но всегда чуточку грустная. Улыбается только на одной фотографии, да и то нельзя отделаться от ощущения, что улыбка – по команде фотографа.

Послевоенная железная дорога – нечто, не поддающееся описанию, и нынешнему поколению представить её невозможно. Сорок восьмой год. Это и демобилизованные воины, добравшиеся туда, откуда призывались. И толпы гражданских, наконец-то получивших возможность выехать, лишённые её четыре военных года. И изувеченные калеки: кто без рук, кто без ног, кто без глаз. И масса снующих беспризорников. И, конечно же, всевозможное жулье. Смутно помнятся переполненные вокзалы, страх потеряться в той толчее, руки матери, тащившие огромный фанерный чемодан, больше похожий на сундук, в одной руке, и меня, держащегося за другую. Руки от усталости часто менялись. Отходя, по нужде, она сажала меня на тот фанерный чемодан. И я сидел на нем, боясь быть сбитым и затоптанным снующей туда-сюда толпой.

Так распрощался я с городом моего детства, но никогда не забывал его.

### **Святой Илия и святая Иулиания**

Семилетним меня увезли из Мурома, а вернулся глубоким пенсионером, хотя всю жизнь мечтал побывать в своем детстве. Мечта осуществилась, когда мы супругой Мариной предприняли путешествие по Волге, Оке и Каме на небольшом уютном теплоходе «Сергей Образцов».

Муром – городок сказочный, впервые упомянут в Лаврентьевском списке «Повести временных лет» под 862 годом как один из древнейших русских городов России: «...первии насельници в... Муроме – мурома». Согласно одному из толкований, название племени означает: «люди, живущие на возвышенности у воды». Ну, чем не Ярославль?! Удивительно, но и от Москвы он отстоит также на 290 километров. Мы – на север, Муром – на юг.

Теплым солнечным утром 10 июня 2013 года, сойдя с трапа теплохода, я ступил на песчаный берег земли муромской. У нас было четыре часа до отправления и трехчасовая экскурсия. Наташа, как представилась сопровождавшая нас представительница экскурсионного бюро, неспешно повела вперед. Куда, стало ясно буквально через несколько минут.

На высоком, не столь уж и крутом берегу в густой зелени деревьев и кустарника высились главы Спасо-Преображенского мужского монастыря, как подсказала та же Наташа. Тут же

подумалось: а ведь и наш монастырь, ставший Кремлем ярославским, тоже Спасо-Преображенский и тоже по имени главного храма. К тому же основатель нашего города и в истории Муромца оставил заметный след. Так, Ярослав Владимирович («Мудрый») нередко использовал далеко отстоявшийся Муром в качестве ссылки и даже казни. К примеру, в 1019 году, будучи разгневанным поведением новгородского посадника Константина, он повелел приближенным «Костятина» того убить с точным указанием места: «в Муроме на реце Оце».

Спасо-Преображенский монастырь закрыли в 1918 году в связи с обвинением в агитации против советской власти, конечно же, изъяли все церковные ценности. Чуть был не уничтожен древний некрополь монастыря. Трудно поверить, но всю эту неопишущую красоту передали военному ведомству, и последняя воинская часть покинула территорию Спасского монастыря весной 1995 года. Хотя чем отличается судьба нашей Толгской обители, отданной в советское время под детскую исправительную колонию?

Сравнительно недавно появилась в монастыре главная святыня – рака преподобного Илии Муромца с частицей его мошей. Меня очень интересовала эта историческая личность, ибо Илье я в некотором роде был соседом. За двором нашего комсоставского дома полого вниз спускалось легендарное село Карачарово. Однако о самом Илье, конечно, знал непросто мало: что-то из былин, что-то из кинофильма, что-то из радиопередач моего детства. Оказавшись здесь, естественно, постарался восполнить пробел.

С помощью экскурсовода и приобретенной по случаю краеведческой литературы узнал, что родом он из крестьянской семьи. Родился калекой, «сиднем сидел целых тридцать лет». Однажды странствующие старцы, застав Илью одного, попросили напоить их ключевой водой (по другим версиям – «пивом ядреным», «хлебной брагой»). Он ответил, что «нет ему во ногах хождения». Калики же повелели встать. Так впервые он встал и принес странникам напиток. Утолив жажду, калики странствующие дали испить Илье и спросили его: «Что чувствуешь?». «Силу великую», – ответил богатырь, – кабы было в сырой земле колечко, повернул бы земелюшку на ребрышко». Тогда старцы велели Илье испить из ковша еще раз, и силы у него поубавилось ровно наполовину. Странники предрекли: «Быть тебе, Илья, воином! Смерть тебе в бою не писана».

Первым подвигом Ильи стала раскорчевка дремучего леса под пашню, над чем трудились в день чудесного исцеления его родители. Выполнив сыновний долг, Илья Муромец взял у них благословение и отправился в стольный град Киев служить князю Владимиру Красное Солнышко. Подлинным богатырем Илья Муромец стал, получив от названного старшего брата Святогора «вторую» силу и его оружие – меч.

Примечательно, что, служа князю, Илья не был слугой князя. Он смело выходил в открытую степь сражаться с многотысячной вражеской ратью, но на приказ князя беречь Киев от царьградских витязей ответил твердо: «Не извадились мы сторожем стеречи...».

Меня всегда интересовало: каким был Илья Муромец в реальности? Помогло то, что в конце 1980-х годов ученые воспользовались уникальной возможностью комплексно изучить мощи Киево-Печерской Лавры.

Развернув одеяния его останков, исследователи увидели хорошо сохранившуюся мумию мужчины, руки которого сложены на груди крестообразно. Выдержки из научного отчета 1990 года: «Мумифицированный труп мужского пола весом 7 кг 150 г, рост 177 см расположен в положении лежа на спине на деревянном лотке, повторяющем основные очертания тела. Труп представляет собой скелет, обтянутый сухими, плотными, темно-бурого цвета кожными покровами, степень сохранности которых в различных областях различна».

Вывод: «... с большой осторожностью можно предположить, что время захоронения Ильи Муромца в пределах XI-XII вв.». Далее сугубо научная констатация фактов, требующая пояснений. По данным археологов, в конце XII – начале XIII вв. средний рост людей на территории Киевской Руси равнялся 164 см. Рост Ильи – 177 см., то есть для своего времени высокорос-

лый, крепкий, широкий мужчина, с большой грудной клеткой, хорошо развитыми плечами, мощными руками и ногами.

Еще одно наблюдение: заболевание Ильи Муромца, врожденное или перенесенное в ранние годы, наложило неизгладимый отпечаток на всю его внешность: массивную голову, большие сильные руки, крепкие ноги с крупными ступнями. Медицинское название болезни Ильи Муромца – акромегалитический синдром. Проще говоря, сильно развитые дополнительные отростки на поясничных позвонках. Они ущемляли нервы спинного мозга, что могло затруднять передвижение в юности, и не поэтому ли «не имел Илья во ногах хождения цело тридцать лет»? Калики перехожие, как народные целители, могли дать Илье целебный травяной настой и вправить позвонки. Однако к старости Илья все равно не мог без посторонней помощи взобраться на коня, и, скорее всего, потому отошел от ратных дел и постригся в монахи.

Возраст богатыря мог составить 55 лет. Умер он не от старости или болезни, а от смертельного удара копьем в область сердца. Вероятно, богатырь-монах погиб в бою. Ближайшая ко времени жизни Ильи битва за Киев с разорением и разрушением Печерского монастыря произошла в 1203 году. Если эту дату считать временем гибели Ильи Муромца, то былинный богатырь родился между 1148 и 1163 годами.

Благоустроенная ныне набережная когда-то была частью муромского кремля. Следующая на пути Николо-Набережная церковь. Она очень напоминает раскраской фасадов наш ярославский храм Михаила Архангела на Которосльской набережной. Основной фон ярко-красный, отделка – белая. Напоминает также несоразмерная с маленькими главками поверху её основа в три этажа.

Впервые церковь упоминается как деревянная под 1574 годом. В 1700 году взамен обветшавшей прежней приступили к постройке новой кирпичной церкви. Строили очень долго – целых 17 лет. Необычна и колокольня, вопреки традиции не превышающая куполов храма. Но основная её особенность в восьмигранном объеме.

В советское время её использовали под склад, и только в декабре 1990 года Николо-Набережную церковь передали Владимиро-Суздальской епархии.

Но главным открытием для меня и даже своеобразным потрясением стало то, что главной святыней храма являются мощи святой праведной Иулиании Лазаревской (Муромской). И вот почему. Когда родилась дочь моя, то, прежде всего, встал вопрос об имени. Предупредил сразу: имя должно согласовываться с исконно русской фамилией Колодин. Жена, теща и свояченица предлагали разные варианты, вроде Светы, Тани, Вали (трали-вали). Самый оригинальный вариант предложил свояк Семен, выдавший на-гора имя Клеопатра. Он, видимо, только что посмотрел фильм о ней.

– Хорошо, – не стал спорить я. – А как называть её маленькой?

Семён в задумчивости чесал затылок, но молчал. Зато я разошелся:

– Может, Патра? Или еще хлеще, как принято в определенных кругах, Падла?

– Ну, ты уж чересчур.

– Ага. Тогда, может, Клепа, или лучше даже Клёпа. Смотри, как классно: Клёпа, Клёпка, Заклёпка.

Не полагаясь больше на других, имя выбрал сам – Ульяна. Почему, объяснить не мог. Но настоял, точнее, пока жена лежала в родильном доме, пошел и зарегистрировал дочь.

И вдруг звучит Иулиания, то есть Ульяна. Значит, что-то в памяти от Муромы сидело столь глубоко, что выплыло в нужный момент неосознанно. Попросил рассказать о святой подробнее.

Праведная Иулиания родилась в тридцатых годах XVI века в дворянской семье. Отец служил ключником при дворе Ивана Грозного. Будучи шестилетней, она потеряла мать, и бабушка с материнской стороны взяла ее к себе в Муром.

Даже подростком Иулиания, послушная и смиренная, вела жизнь уединенную, предпочитая пост, молитву и рукоделие играм и забавам. Благочестивость её привлекла внимание владельца села Лазаревское, что в четырех верстах от Муром, Георгия (Юрия) Осорьина, вскоре женившегося на 16-летней Иулиании.

Родители и родственники мужа полюбили кроткую, приветливую и трудолюбивую невестку. После трагической смерти сыновей она попросилась в монастырь, но получила отказ. Иулиания покорилась и усилила духовность свою: по понедельникам и средам вкушала один раз невареную пищу, по пятницам совсем ее не принимала; ночь проводила в молитве, предаваясь сну всего два часа, каждое утро ходила в храм к заутрене и обедне. Возвратясь из церкви, занималась воспитанием детей и без отдыха трудилась по хозяйству.

Она славилась милосердием. Собственноручно вышитые пелены продавала, а вырученные деньги раздавала. Благодеяния совершала тайно, милостыню посылала по ночам со служанкой, особо заботилась о вдовах и сиротах: кормила, поила, обшивала их. В голодные годы делилась своей пищей с нуждающимися. Милостивая Иулиания тайком мыла больных, лечила их, как умела, и молила Бога об их выздоровлении.

Вскоре умер муж. Блаженная прожила во вдовстве девять лет. За это время она раздала бедным почти все свое имущество, оставив дома только самое необходимое. Слугам дала вольную, но некоторые из них остались с ней до конца.

В декабре 1603 г. Иулиания заболела. 2 января 1604 года на рассвете призвала своего духовного отца, причастилась и простилась со всеми. Последними словами праведной Иулиании были: «Слава Богу за все!». Она хотела быть похороненной в Муроме у церкви праведного Лазаря, возле своего мужа. Просьбу исполнили.

В 1614 году, когда рыли могилу для сына праведной Иулиании Георгия, мощи святой обрели нетленными. Они источали миро, от которого многие получили исцеление. На поклонение к праведной Иулиании приходили богомольцы из Муром и окрестных селений, принося по обычаю больных детей.

История ее жизни (редкий случай!) известна из первых рук, воспоминания о матери оставил Калистрат Осорьин.

Я никогда не жалел о выбранном для дочери имени так же, как никогда о том не жалела она сама. Но здесь почувствовал еще и гордость.

Сразу за Никольским храмом – Приокский парк, где в 1999 году, на месте несохранившегося муромского кремля, установили памятник Илие Муромцу (скульптор В.Клыков. На круглом, высоком, белом постаменте богатырь-инок с крестом и мечом смотрит за реку, денно и ночью охраняя Русь, ибо тут, у подножия Кремлевской горы, вплоть до покорения Казани заканчивалась земля русская. А с берега правого совершали набеги половцы, потом волжские болгары, еще позже татаро-монголы.

Монумент красив и величественен. Но портят, да что там портят, гадят впечатление разбросанные вокруг бутылки из-под пива, шампанского, кока-колы... Обертки и подложки от продуктов из уличных забегаловок; окурки, скомканные сигаретные пачки, засохшие букеты и отдельные цветы. Свалка вокруг такого памятника!

– Наташа, – обратился я к гиду, – в городе никого не смущает это?

– Смущает. Вообще-то тут регулярно убирают, просто вы рано приплыли...

– Но откуда столько мусора, если регулярно убирают, – засомневался я.

– Сложилась традиция, по которой все молодожены после регистрации идут и едут сюда. – Ясно: явились, наелись, напились и смылись... Стыдно за земляков.

Немало местных преданий об Илье Муромце сохранилось на родине былинного богатыря – в Карачарове.

Графиня Прасковья Сергеевна Уварова, последняя владелица села и усадьбы при нем, в свое время сообщала: «... жители села Карачарова с большим жаром... приводят следующую

повесть: в тогдaшние времена на берегу Оки лежали три черных дуба, вытaщенные из воды рыболовами, из коих каждый был такой тяжести, что крестьянская лошадь без отдохновения на гору не могла вывезти; а он их на своих плечах переносил на гору, где они находились долгое время и после поступили в основание при постройке Троицкой церкви...». И поныне в Карачарове показывают место, где, по преданию, стояла изба Ильи Муромца (ул. Приокская № 279).

Родина моего детства – старинное село Карачарово – расположено выше Мурома по течению Оки и ныне входит в черту города. На высоком левом берегу Оки раскинулся парк усадьбы графини Уваровой, где располагалась воинская часть и военный же городок, куда бегал я ежедневно к матери и знакомым солдатам.

Некогда, по мнению историков, село являлось укрепленным оборонным пунктом на границе Русского государства. Из памятников архитектуры в нем сохранилась усадьба Уваровых «Красная гора», в которую вошли господский дом, два флигеля, надворные постройки и липовая аллея.

По словам матери, еще в начале войны усадьба была полна удивительных картин и ковров, старинной мебели и утвари. Но за годы военного лихолетья формируемые здесь для отправки на фронт воинские части утратили богатство, а если по правде, растащили или пожгли. Как говорила мать, выдрали даже редкостный паркет и огромные резные двери (на растопку). Мать вспоминала, что в войну они ходили в Карачарово не только за махоркой и продуктами, но и за святой водой. Я поинтересовался у гида, действительно ли существует такой источник.

– Да, – ответила она, – жители города и туристы охотно приезжают в Карачарово к источнику. Муромские предания сообщают, что источник забил от удара копыт богатырского коня Бурушки.

Сегодня сам Муром – райцентр, что уж говорить о Карачарове! Но, когда я спросил экскурсовода о возможности съездить туда, она ответила, что дорога перекрыта военными на подступах к бывшему имению графини Уваровой и военного городка при нём. Ладно, хоть город увидел, мощам святого Илии и святой Иулиании поклонился.

### **Новые родственники**

В Ярославль я прибыл «никакой и ничей», даже без «метрики». Мать, собираясь впопыхах, забыла многие документы, в том числе и мое свидетельство о рождении. А мне уже семь лет, и надо идти в школу. Послали запрос в Муром, только когда ответ придет и какой? Потому уговорила мать сестру родную взять меня на время в деревню и там определить в первый класс сельской школы. Сестра, тетка моя Надежда Александровна, пусть земля будет ей пухом, с явной неохотой, но все же приняла меня.

Сейчас-то понимаю, как нелегко было решиться ей: к своим четырем детям принять меня, пятого. И это в послевоенной, совершенно нищей деревне, где работали на износ за совершенно пустые трудодни, на которые ничего, кроме бригадирских матюгов, не приходилось. Жили с огорода, с коровы. Молоко в бидонах тетка возила в Ярославль или Ростов, последний ближе, по «железке» всего одна остановка, но продукт дешевле. Ярославль дальше, но продашь дороже. С двумя бидонами наперевес тащилась она по воскресеньям до станции, а там на рынок. Обратнo в тех же бидонах везла муку, растительное масло, сахарин, соль, спички.

Когда я уже возвратился в Ярославль, она с тяжелой своей поклажей на плечах вначале приходила к нам попить чайку с сахаром, который в деревне оставался продуктом редким, да пожалиться сестре на нелегкое свое житье. Нередко мне приходилось сопровождать её к рынку, приняв на свои детские плечи часть того груза. А вспоминается почему-то не тяжесть в руках, а что-нибудь светлое и веселое.

Утро. Пустынные улицы тогда еще не столь многолюдного Ярославля. Мы бредем по направлению к рынку. Разговариваем. Но тетка постоянно отвлекается, заглядывая во все попутные окна.

– Чего ты там ищешь? – спрашиваю.

– Да нет ли наших, смотрю, – простодушно отвечает она

Я расхохотался. В двухсоттысячном городе она выискивает в окнах «своих» так же, как в деревне из десяти-двенадцати дворов.

По приезде в город мы поселились у дальних родственников. И не родственников даже. Глава семьи – бабушка Маигина – доводилась родной сестрой упоминавшейся выше бабушке Вере, той самой, что с утра от дел и хлопот домашних «бегала за песнями».

Почему именно здесь остановилась мать? Да просто в молодости, когда «намыливалась» на вольные хлеба, мачеха дала ей адрес своей сестры, уж очень хотела свалить взрослую девку с хлебов своих. Да и недолюбливала она её за непокорный характер и любовь к чтению. Сама мачеха могла только расписаться, оставаясь неграмотной, но не хотела признаваться в том. К тому же люто ненавидела советскую власть.

На улице Окружной, что на самой окраине насквозь рабочего Красноперекопского района, у семейства Мурашевых-Маигиных был свой обширный дом в два окна по улице, треть дома в одно окно принадлежала семье дальних их родственников Федоровых.

Дом большой, делился стенами-перегородками на три части. Из крыльца через обитую войлоком дверь попадаешь на кухню с одним окном во двор. Здесь мы по приезде пили чай из самовара и темно-синих (киноварь с золотом) кружек дореволюционного фарфора. Но это в первые дни.

Далее следовала средняя темная комнатка в ширину кровати, ставшей нашим пристанищем. Через проход у противоположной стены какая-то невзрачная, грубо сколоченная мебель из настенных шкафчиков и пристенного стола, за которым мы с матерью и кормились. Общая, украшенная иконами кухня не для нас.

В доме было много старых и даже старинных вещей. В частности, на кухне стояла огромная черная горка с замысловатой резьбой и зеркальными толстыми стеклами, за которыми теснились столовые и чайные сервизы еще прежней, царской, поры. Меня, мальчика, мало что смыслившего тогда, да и сейчас не очень разбирающегося в подобном антиквариате, поражало само обилие посуды, ибо до того я полагал, что достаточно и одной, но глубокой тарелки на всех. В крайнем случае, – на двоих, как у нас с матерью. Вся наша посуда заключалась в большой краснзвездной тарелке из красноармейского общепита и двух разнокалиберных шерба-тых кружек. А тут целая горка в три или даже четыре полки...

Но еще больше (ну, просто наповал) поразило меня обилие темных икон в богатых окладах, висевших не только по углам, но и стенам во всех комнатах. И это в пору воинствующего атеизма! Надо понимать, что прежде я икон не видывал вообще, ибо в нашем «комсоставовском» доме их не было и не могло быть. А тут сразу целый музей на дому.

Причина в том, что бабушка Маигина (имени её я так и не запомнил) являлась дочерью церковного старосты из Ораниенбаума, что под Петербургом. И вся тщательно хранившаяся в доме старина была частью её приданого. Связь с родиной сохранялась в том, что дочь Александра, когда наступала пора рожать, обязательно отправлялась в Ораниенбаум. И один из сыновей – Славик – постоянно подтрунивал: «Вот ведь церковная порода, как жить – так в Ярославле, а как рожать – так в чертовом Ораниенбауме. Куда с паспортом ни придешь, пер-вым делом интересуются: не из Германии ли?»

Бабушка Маигина, верная дочь своего набожного отца, делала нашу жизнь невыносимой, люто возненавидев меня с самого начала по причине моей некрещености. В военном городке, понятное дело, церквей не было, да и не поощрялась советским командованием религиозность. И если жены командиров, случалось, все же крестили детей, то уехав верст за триста к род-

ственникам куда-нибудь за Урал либо на Украину, в строгой тайне, чтобы не навлечь гнева на головы своих мужей, а значит, и на свои собственные. Моя мать никуда из Мурома вплоть до нашего отъезда не выезжала, и остался я, по словам бабушки Маигиной, «нехристом» (это в лучшем случае и на людях), а так она меня иначе, чем «выблядок», и не называла... Не понимая полного значения унижительной матерщины, я нутром догадывался о сути её, глядя на полыхающие ненавистью глаза и презрительно сжатые тонкие бескровные губы.

Правда, произошло это не сразу. Бабушка в первый же день за чаем решила сводить меня в церковь, дабы приобщить к благодати христианства. Я же, выросший в советских садиках и яслях, был вполне сформировавшимся атеистом и «в храм божий» идти отказался наотрез. Тогда-то и получил ту не христианскую характеристику, которую выслушивал ежедневно и в разных интонациях. Что интересно, старшие Мурашевы, хотя и крестились иной раз на многочисленные развешанные по стенам образа, в церковь все-таки не бегали. Сыновья же вообще были от неё далеки, ибо младший – Валерий – вскоре убыл на Черноморский флот юнгой, а старший Славик вообще, как принято сейчас говорить, «положил на религию», как и на все прочее, кроме вина, танцев и девушек. А от меня почему-то требовали непременно крещения. Было непонятно и обидно, но не сдавался. Уперся.

Хозяева тетя Шура и дядя Павел был людьми незлобивыми, в меру веселыми и добродушными, всячески старавшимися сгладить озлобленность и непримиримость бабушки, не переча ей однако.

Александра всю жизнь проработала на фабрике «Красный Перекоп» и в своем огороде. В городе (так «перекопские» называли центр Ярославля) бывала редко, по крайней нужде. А всю культурную жизнь ограничивала посещением по большим праздникам Федоровского кафедрального собора. Любила поговорить, послушать. Мать мою, которую знала ещё в свои незамужние молодые годы, почему-то очень уважала. Может, гуляли вместе, не знаю. Сейчас тетя Шура, полностью лишившись церковного налета, была самой обычной фабричной работницей, в меру доброй, в меру крикливой.

Иное дело – дядя Паша, муж её. Тот, из самых рабочих низов, каким-то образом влюбился и влюбил в себя сумасбродную Александру. Сломил-таки сопротивление родителей и добился своего, обвенчавшись с любимой. Но, оказавшись в семье зажиточной с властолюбивыми тещей и супругой, попал в полную от них зависимость. Бабушка Маигина и при мне не раз вслед ему шипела: «голодранец». Был он высоким, худым и очень больным. В год по несколько раз лечился в госпитале для инвалидов. В войну он оказался в плену, работал на шахте. Кормили скудно. Однажды он умудрился из-под носа охраны стащить буханку хлеба, но пройти в барак с ней без последствий не смог. Заподозрив что-то, охранник ткнул его штыком в грудь, но поскольку тот устоял на ногах, то прошел дальше. «Очнулся, – вспоминал дядя Павел, – на своем тюфяке в бараке, уже без буханки и с раной в груди. Хлеба мне оставили кусочек граммов в пятьдесят».

От той раны со временем развился костный туберкулез, с ним он и маялся все послевоенные годы. Был дядя Павел незлобивым, тихим, и, если можно так сказать о человеке взрослом, послушным.

Вспоминается эпизод. Мы все вместе: я с матерью, тетя Шура с дядей Пашей – идем в баню. Путь по Окружной неблизкий. Но августовский полдень тёпл и ласков, а пыль придорожная, по которой бреду я, загребая сандалями, такая мягкая, что забираться на саму дорогу, по которой идут остальные, мне не хочется. И говорю, что спотыкаюсь о булыжник, и хочу идти по обочине. Дядя Павел голосом, полным иронии, отвечает: «Может, тебе асфальт устроить?» И добавляет: «Тут тебе не Германия». Добавляет тихо, но я слышу, и непонятное сочетание асфальта с Германией заставляет присоединиться ко всем на булыжной мостовой.

По молодости и любви народили Саша с Пашей двух сыновей-погодков. С младшим Валерием мы сдружились. Сразу по приезде он увел меня на улицу, завел в сарай, где из-под

застрехи достал бережно завернутую в тряпицу рогатку. Мне это орудие, разумеется, было знакомо, однако тут предстало нечто совершенно поразительное. Блестящая никелем сталь, мягкая красная эластичная резина, аккуратная кожаная прокладка посередине делали обычное орудие уличных хулиганов своеобразным произведением искусства. Я обомлел от увиденного и шепотом спросил: «Твоя?». «Моя. Бери и береги. Вернусь – спрошу!» И тоже шепотом. После чего снова завернул рогатку и убрал в потайное, только мне открытое место. Больше от Валеры я не отходил ни на шаг, пока он через пару дней не отбыл в Севастополь для службы на Черноморском флоте. Ему исполнилось четырнадцать лет. А может, и пятнадцать, но не больше.

С другим братом Славой мы не были столь близки, хотя он относился ко мне очень хорошо, по причине его чрезвычайной загруженности. Тот трудился электриком, кажется, в трамвайном депо и либо работал, либо пил горькую, либо ночевал у подруг, каждый раз разных. Слава был чрезвычайно обаятельным, веселым, в отличие от своего лобастого серьезного брата, и то, что сейчас называется «пофигистом», то есть все ему было «по барабану», или, если нравится, «до лампочки». В милиции – постоянный клиент. Последнее задержание пришлось как раз на период моего кратковременного пребывания на Окружной.

Набравшись где-то в городе (а городом, напомним, для «перекопских» был исторический центр), он возвращался домой. Естественно, на трамвае, никакого другого транспорта тогда на Перекопе не было. Показалось ему в вагоне тесно и душно. На первой же остановке взобрался на крышу и, улегшись поудобнее, заснул. А чтоб не свалиться с верхотуры, рукой ухватился за одну из штанг (те прежние трамваи, в отличие от современных, имели, как и троллейбусы, две штанги, через которые подавался в вагон ток от проводов) и так проспал до конечной своей остановки. Люди на кольце Комсомольской площади узрели человека на крыше вагона и подняли крик, мол, человека током убило. Движение застопорилось, вызвали дежурных электриков трамвайного депо, скорую помощь и уж, конечно, милицию, в отделении которой он и оказался.

– Как же тебя, дурака, не убило-то? – причитала поутру тетя Шура.

– Да я же электрик, – хмуро объяснял еще не совсем протрезвевший ушлый сын, – знал, за что схватиться...

На Окружной задержаться мне не пришлось. Нужно было идти оформлять прописку, и тут оказалось, что на меня никаких документов нет. А нет прописки, нет школы. Так я оказался у родной тетки неподалеку от Ярославля.

### **Малитино-Маликино**

Привезли меня в деревню Малитино (местные часто называют Маликино), что в нескольких километрах от станции Семибратово по направлению к селу Татищев-Погост или просто Татищев. От станции шел проселочный пыльный тракт, летом гладкий от толстого слоя пыли, в дожди – непролазный, зимою беспрестанно заметаемый. Следуя им, километра через полтора-два, по правой стороне, под горкою, и раскинулась наша деревня, большим прудом делившаяся на две части. В верхней на пригорке – домов по пять с двух сторон. В нижней – домов по десять, а может, и более.

С правой стороны вторая часть начиналась как раз нашим домом в три окна по фасаду, с горницей и двором позади. При доме не ахти какой, но сад, позади которого огород, точнее, длинные рядки картошки. С левой стороны росло громадное дерево черемухи. Именно дерево, не куст.

С братом Валеркой мы в конце лета, кажется, и не слезали неё. Ягода крупная и сладкая, и, главное, бери – не хочу. И пусть вяжет рот, а хочется еще и еще. Конечно, одной черемухой не обходились, и набегали на соседские сады и огороды – дело привычное.

К слову сказать, деление на сады и огороды в послевоенной деревне весьма условное. Обычно позади дома имелись кусты крыжовника, черной смородины, крайне редко – малины, две-три старые яблони. Меж ними грядки с огурцами, луком, чесноком, табаком... Но ухода ни за хилыми грядками, ни, тем более, кустами – никакого. И не по причине равнодушия и тем более лени. Просто сил на них не оставалось. Их едва хватало, чтоб скотину как-то обиходить да накормить. И урожай соответствующий. Что касается ягод, то очень мелкие, яблоки – также некрупные и кислые, выродившиеся.

Исключения встречались. В нашем Малитино таким исключением являлся сад бригадира местной машинно-тракторной станции Виктора Соловьева, очень ухоженный и урожайный. Туда-то чаще всего мы и пробирались, не всегда без потерь. Никакой грех не может остаться без наказания, в чем мы убедились очень скоро. Заставший нас в саду Виктор быстро сбежал домой за ружьем:

– Пристрелю паразитов, – заорал он, выбегая на крыльцо.

Свалившись с яблони, мы бросились к забору. Валерка, не замедляя хода, перемахнул через забор, а я тормознул и на другой стороне оказался с половиной штанины. Тетка устроила мне бучу, я терпеливо молчал: славу богу, не подстрелили. Уже взрослыми, вспомнив тот поход за чужими яблоками, я спросил Валерку:

– Он действительно мог застрелить?

– Виктор? Да как нечего делать!

Еще одним источником дополнительного питания для нас был поиск яиц. И не каких-то, а куриных и самых свежих. Валерка-прохиндей знал, что в каждом доме найдется хоть одна какая-то из куриц, которая несется не на своем дворе, а там, где судьба сподобит. Но мало этого, он знал места, где эти яйца надо искать. И находил. Очистив о траву такое яйцо, мы выпивали его свежим. Не тащить же добычу домой в общий котел! Если не находилось яиц, он искал куриц, готовившихся разрешиться бременем, хватал несущку и одним шлепком заставлял освободиться от яйца. Как он этого добивался, не понимаю.

Выдумщик и заводила, Валерка иногда выкидывал такое, что повторить невозможно. Помнится, в пору повсеместного увлечения королевой полей – кукурузой – стали строить отстойники, в которые кукуруза складывалась на зиму для силоса. Силосохранилища у нас на ярославской земле существовали трех типов: в виде башен, в виде траншей и в виде ям. Такую яму соорудили и в Малитине с правой стороны от входа на скотный двор. Яма, глубиной метров пять и шириной не менее четырех, была выложена по диаметру кирпичом, забетонирована и заизолирована от грунтовых вод. Тем летом мы помогали на заготовке силоса. Трактор подвозил телегу с кукурузой к яме, сваливал рядом с ямой и отправлялся назад. Мы вилами подтаскивали кукурузу к самому краю и сваливали вниз. А кукуруза вымахала приличная, вроде и подцепишь чуть, а тащишь с трудом. Подтащив, остаешься без сил, и нередко вместе с кукурузой вниз летели вилы. Тогда по лестнице, закрепленной у края ямы, спускались, чтобы поднять их наверх. Когда вилы выпали у Валерки, он не стал терять времени на лестницу, прыгнув вниз. Рассчитывал встать на ноги, а рухнул головой, и не в кукурузу, а на не закрытый еще ею край бетонированного пола.

Хорошо – не вертикально головой вниз, а как бы по касательной. Но удар был таким, что наверх его поднимали с помощью взрослых. Отвезли в фельдшерский пункт села Макарова. Там, осмотрев, переправили в Ростовскую районную больницу. Рентген показал обширную гематому внутри и трещину черепа снаружи. С трудом выходили его врачи, но позже полученная травма все равно сказалась.

Завершал нижнюю часть Малитина еще один пруд, гораздо более обширный и чистый. Лошадей в нем не поили и гусей не спускали. Сюда перебрались Осиповы, продав старый, ставший маленьким дом, купив у цыган (!) гораздо более обширный на берегу того пруда. В нем в изобилии водилась рыба, и наш кот Обормот ловил её в достатке для собственного

обеда. Я с интересом наблюдал за тем, как кот пробирался к берегу, таясь в высокой траве. От кого? Непонятно. Не от рыб же! Затем выбирал место, откуда хорошо просматривалось зеркало водоема. И вдруг в непостижимо резком и высоком прыжке прямо с берега нырял и появлялся над водой уже с рыбкой в зубах. На берегу съедал её и вновь занимал позицию. Еще такого рыболова мне не встречалось.

За нашим, дома через два, стоял двухэтажный особняк известной актрисы Марины Ладыниной. Позади особняка – третий пруд, маленький, круглый и довольно глубокий, имевший собственное имя – Барский. Откуда оно? Тогда не спросил, сейчас спросить не у кого.

Хорошо помню первый свой приезд в Малитино. Стоял конец августа: жара несусветная, пыль столбом, оводы и мухи полчищами несметными. Помнится плывущий и обволакивающий запах свежескошенной ржи, на уборке которой находились, казалось, все жители деревни, кроме малышни. В её числе мой сверстник, двоюродный брат и единственно близкий мне до конца дней своих соперник – Валерка. Он поразил меня тем, что прибежал к дому не только совершенно босой, но еще и без штанов. Воспитанный в яслях и садике, я не представлял, что так запросто можно бегать по улице, и смотрел на него разинув рот. Подружились с первого взгляда, и через несколько минут, скинув сандалии, оставив, правда, штаны на помочах, я уже бегал со всей этой развеселой гоп-компанией по деревне и её задворкам. Мы играли в прятки, и мне приходилось больше водить, чем прятаться, поскольку не то что захоронок, я и деревни-то еще не знал как следует.

Пока бегали, в деревне поднялся истошный крик: «Убивают». Все помчались в поле. Там перед толпой сельчан ужом крутился мужик с вилами в рваной рубахе. Как оказалось, бригадир Степаныч. Ко всему – однорукий. Потому вилы хоть и крепко, но держал в одной руке. Оскаленный рот, вытаращенные безумевшие глаза, слюна и какая-то пена вперемежку с кровью из разбитого лица. Мужик трудолюбивый, он с фронта вернулся не совсем здоровый на голову, контуженный, одним словом. И возражений, как и лени в любом проявлении, не терпел абсолютно. Более того, сатанел и просто приходил в бешенство при малейшем их проявлении. Ну, а редкие имевшиеся в деревне мужики – те же фронтовики и тоже не ангелы: что не так, сразу в «пятаяк», то есть по морде. Отсюда и случившийся мордобой.

В деревню возвращались вместе со взрослыми. И сразу за стол. Еще одно открытие для меня. Семья огромная, одних детей четверо. И эти четыре рта закрыть чем-то надо! А чем? На обед простой картофельный суп, чуть подбеленный молоком. За стол «садились» все вместе, четверо своих ртов, да мой пятый, да тетки с мужем.

За столом дядя Коля, он же Николай Васильевич Осипов, хозяин. Пока не почерпнет первым ложки из общего блюда – не тянись, иначе той же ложкой – точно в лоб, и больно, аж слезы из глаз, и шишка обеспечена. Зевать не приходилось, замешкаешься – останешься без обеда, никаких тебе поблажек. После первого – второе блюдо, чай. Пили его с пареной морковью либо с цикорием. Пропаренный и подсушенный в печи, порезанный мелкими кольцами буроватого цвета, цикорий накладывался в блюдечко, откуда каждый брал по колечку-другому и пил вприкуску. Конечно, не сахар, но пить можно. Наелся я того цикория на всю оставшуюся жизнь.

За деревней на пригорке стояла конюшня на два десятка ясель, в которых содержались лошади, далеко не песенные «кони-звери», обычные труженики ферм и полей, так же, как и люди, измученные войной с её бескормицей и непосильными нагрузками. Двигались они не спеша, и ускорить ход их никакой мат не мог, впрочем, без мата они совсем не двигались, стояли понурые, со сбитыми холками и скрученными репейником в веники хвостами. Но, как известно, даже пони – тоже кони. И нам, мальчишкам, доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие забраться на них и погнать на пруд, где они не спеша пили, отдыхали от мучивших оводов и потому, наверное, терпели нас на своих костистых спинах. И мы возвращались назад в поле, довольные донельзя, ибо ничто не может сравниться с верховой ездой, пусть без седла

и уздечки. Я, в общем-то, совсем неприспособленный к сельской жизни и труду, с лошадьми поладил на удивление быстро, хотя и походил какое-то время «враскоряку»: все-таки езда верхом без седла требует привычки.

## Осиповы

Глава семьи, бывший артиллерист, обожавший песню, в которой главные слова – «Артиллеристы, Сталин дал приказ». Когда пел, точнее – орал, сомнений не возникало: если кому Верховный Главнокомандующий и давал приказ, то в первую очередь именно ему – Николаю Васильевичу.

В бригаде Николай Васильевич числился конюхом. Но пробыл им недолго. Контуженный крепко Степан, передравшись со всей уважавшей, но совершенно не боявшейся его деревней, от бригадирской должности был освобожден. И освободившееся место занял наш Николай Васильевич, прежде всего по причине своей принадлежности к партии, ибо других её представителей в Малитине не имелось. С должностью освоился, да так, что ежедневно лошадь на телеге доставляла его к дому самостоятельно, мертвецки пьяного и без фуражки. Мы все вместе заносили тело партийного бригадира в дом. За год или два они с соседом-собутыльником Анатолием Татаринским пропили из колхозного имущества все, что имелось в наличии и могло быть реализовано хоть по какой-то цене. Когда в правлении колхоза спохватились и отрешили его от должности, то в наличии у бригады мало что осталось. Но почему-то спустили все с рук, ограничившись каким-то партийным взысканием. Его это обстоятельство не очень огорчало.

В молодости Коля Осипов слыл за сумасброда. Как-то летом он всполошил всю ночную, спавшую после непосильных трудов деревню криками: «Горим, горим!». А повыскакивавших из домов соседей пьяный Колька встречал возгласом: «Вот так я вас надул». Бока ему, конечно, намяли, да и успокоились: что, мол, с полудурка взять! И если бы та выходка была единственной! Потому, когда стали его сватать в дальнюю деревню, односельчане Бога молили, чтобы сватовство завершилось свадьбой.

Был Николай Васильевич росточком мал, к тому ж кривоног, но зато горласт, на гармони играть горазд и выпить не дурак. В меру трудолюбив, во хмелю буен, к супружеской жизни пригоден: еще до войны десятерых детишек «настрогал» – на две семьи хватило бы, только Бог «лишних» прибрал, к счастью.

С тем и ушел на фронт. Служил достойно, возвратился живой, невредимый, с медалями, ранениями и партийным билетом, что подвигало его во хмелю порассуждать о политике и политиках. Это если не дрался. А задираться мог по поводу и без него. К тому же полученная на фронте контузия сильно омрачала рассудок его во хмелю. Но поскольку физически в бойцы кулачные не вышел, то всю дурь и злость вымещал на жене, поколачивая супругу, то есть тетушку мою. Она и ростом его выше, и костью шире, и силой, по крайней мере, не слабее. Но страдала, не сопротивляясь. Почему?

Когда в очередной раз заполошно закричала Надежда Александровна, закрывая лицо от кулаков озверевшего пьяного мужа, старший сын Валентин выскочил из-стола (была пора ужина), подскочил к ним и, ухватив отца за рубаху одной рукой, слегка пристукнул того затылком о дверной косяк и сказал негромко, но внятно:

– Еще раз тронешь мать, убью!

Валя, первый в семье кормилец, очень сильный и, как все силачи, добродушный, если очень постараться и обидеть его, мог быть суровым до безжалостности. И, внушая родителю, он, чувствовалось, едва сдерживался, опасаясь действительно уложить отца родного навсегда. И того проняло. Больше никогда рукоприкладства тот не допускал, хотя издёвок не прекратил. Помнится, коронкой в их ряду была его отелловская ревность ко всем мужикам деревни, включая соседа своего, закадычного собутыльника Анатолия Татаринского. Но первым в том

ряду стоял местный пастух, деревенский дурачок, косноязычный, но внешне вполне симпатичный и, главное (!), всегда при шляпе, неизвестно как оказавшейся на его голове. С ней он не расставался ни на минуту и потому именовался всеми как Коля-«менистр». Ну, кто же еще, в шляпе-то !

Изображать ревность к больному человеку своей многострадальной жены, к тому времени матери четверых детей, можно только при ненормальной психике.

Кто еще сидел за столом? После хозяина сама тетушка моя – Надежда Александровна. Она старше матери и менее удачлива в жизни, хотя, кажется, куда уж меньше! С малолетства в прислугах. А в деревне прислуга, кроме того, что работница за все, еще и девочка для битья. Не досталось ей и тех двух зим, что удалось проучиться матери. В молодости, судя по сохранившимся фотографиям, была здоровой, полнолицей, по-русски красивой хохотушкой, готовой смеяться на показанный палец. И это несмотря на тяжкую жизнь с мачехой и полностью попавшим под её влияние отцом.

Сколько помнила себя – всегда в работе. Не догуляла, не допела, не доплясала. Как только повзрослела, мачеха постаралась выставить её из дома, выдав замуж. А без приданого кто возьмет? Подыскали жениха из деревни столь дальней, что ничего толком друг о друге роднившиеся семьи не знали.

Старший из детей – Валентин, уточню: старший из выживших. Когда началась война, ему было лет двенадцать. С первых дней её начал трудиться в колхозе, скоро, втянувшись, стал работать наравне со взрослыми, а уже лет в четырнадцать сел за трактор. Я помню те трактора ХТЗ, которые в первые годы после войны составляли основу сельского тракторного парка. Гиганты с огромными колесами, обода которых щерились огромными стальными шипами. Без кабины, с металлическим сиденьем в круглых отверстиях и неповоротливым рулем. Чтобы управляться с таким железным конем», требовалась недюжинная сила. И он обладал ею. Уважение окружающих сказывалось в том уже, что никто и никогда не называл его Валя, тем паче Валька, только Валентин.

Роста выше среднего, широкоплечий, с мощной грудной клеткой, развитой мускулатурой, с густой копной прямых, гладко зачесанных назад волос, упрямо сжатыми губами и прямым взглядом серых глаз, он не мог не пользоваться успехом у местных молодок. К тому же многочисленные его достоинства дополнялись одним существенным обстоятельством – игрой на баяне. Но поклонницы поклонницами, а предпочтения никому он не отдавал. Недосуг, да и пора его еще не пришла.

Пишу, и отчетливо встает перед глазами поляна, в центре которой среди молоденьких березок принесенный из дома обеденный стол, стул на нем, а на стуле – Валентин. Он, склонив голову к мехам, играет одну из самых любимых мелодий: »В лесу, неслышен, невесом, слетает желтый лист...».

А на поляне кружат вместе с листьями пары из девчат: молодых парней призывного возраста практически в деревне не осталось...

Потом была служба в армии, долгие четыре года разлука с домом. Из эпизодов армейской службы, рассказанных им, в памяти остался один. За успехи в военно-политической подготовке его наградили наручными часами. Он так берег их, что перед тем, как заснуть, снимал с руки и застегивал ремешок на ногу: мол, пока ищут, пока снимают, проснусь... Ну, а там уж – берегись его пудовых кулаков.

После армии погулял недолго. Перво-наперво постарался найти подходящую работу. Служба в армии давала хорошую возможность вырваться из колхозного рабства, поскольку при демобилизации сельские ребята получали на руки паспорт, которого они не имели до службы. Отсутствие паспорта у колхозников – советская форма порабощения, потому что убежать из деревни еще как-то можно, а устроиться на работу при отсутствии основного документа нельзя. И большинство сельских ребят службу в армии рассматривали, прежде всего, как возможность

получить заветный документ и «наострить лыжи в город». Почему бежала молодежь из колхозов? Из-за полной бесперспективности и фактически неоплачиваемой работы. Единицей труда в колхозах служил так называемый трудодень, отмечавшийся бригадиром палочкой. Оплата производилась в конце года, но только после сдачи произведенной продукции по госпоставкам. Часто после такой сдачи самим колхозникам ничего не оставалось. Потому самой популярной среди них шуткой была пародия на герб страны с его основными символами – серпом и молотом: «Хочешь жни, хочешь куй, все равно получишь х..» Она бесконечно варьировалась в поговорках, частушках, анекдотах.

Валентин подыскал работу недалеко от дома – в Семибратове. Сам пристанционный поселок делился пополам двумя образующими его предприятиями. Ближняя к Малитину часть именовалась «Терман» по заводу, производящему термоизоляционные плиты. Другая половина – «Газоочистка» – по заводу газоочистительной аппаратуры со своим научно-исследовательским институтом. Благодаря этим предприятиям поселок обзавелся вполне современными благоустроенными домами.

И на новом месте брат очень скоро обратил на себя внимание. В районной газете «Путь к коммунизму» даже поместили его портрет с подписью, в которой сообщалось, что «в цехе древесно-волоконных плит комсомольца Валентина Осипова знают как лучшего производственника. Валентин, по специальности дифибраторщик размольного отделения, но с успехом выполняет работы слесаря и сетчика. Его по праву называют мастером на все руки».

Здесь нашел и свою любовь. Зоя, выпускница десятого класса, мечтала после школы поступить в медицинский институт, имея на то все основания. Но победило чувство. Они поженились, и Зоя стала работать на том же «Термане». Когда родилась дочь Аня, получили трехкомнатную квартиру со всеми удобствами, правда, в старом двухэтажном доме.

– Почему не в новом пятиэтажном, с балконом? – поинтересовался я.

– Балкон, конечно, не помешал бы, – ответил Валентин, – но здесь есть сарайка, значит, и кабанчика можно завести. Кабанчик стал постоянным обитателем сарайки. Однажды Осиповы огромным своим семейством пожаловали к нам на улицу Закгейма. Собрали стол, посидели, наговорились от души, и я принялся уговаривать гостей заночевать у нас, чтобы отправиться домой на утреннем поезде. Все вроде бы не против, кроме Валентина:

– А кабанчика кто кормить будет, он там без меня и соседей-то всех с ума сведет.

Так и уехали к кабанчику. Сарайка еще для Валентина была местом, куда мог он поставить мотоцикл, который и подвел его в конце концов. Тяжелая авария уложила молодого мужика на больничную койку областной больницы с тяжелой травмой позвоночника. Зоя, не раздумывая, оставила дочь со своей матерью и отправилась вслед за мужем. Кто бывал в Соловьевской больнице, знает, какие там огромные, еще дореволюционные палаты. А уход требовался постоянный и нелегкий, учитывая габариты такого мощного мужика, каким был Валентин. О том, чтобы поставить рядом с ним койку для неё, не могло быть и речи. Зоя взяла на предприятии отпуск за свой счет и устроилась в больницу санитаркой того отделения, где он находился. И долгие месяцы выхаживала его под наблюдением врачей, поначалу настроенных весьма скептически. Но вместе они одолели недуг, из больницы Валентин вышел своими ногами. Удивительно счастливая пара!

Не менее удачным оказался брак и второй из Осиповых – Галины, той самой, что сдала нас с Валеркой, когда мы втягивались в курение. Её мужем стал колхозный бухгалтер Николай Синотов из соседнего Татищева. Чуть постарше, в молодости лишившийся одного глаза, он был мужиком компанейским, в подпитии веселым, в повседневности спокойным и рассудительным. Галя, не в пример старшему брату говорливая, горячая и даже вспыльчивая, уравновешивалась только терпеливым спокойствием супруга. В деревне они задержались недолго и, как только колхоз трансформировался в совхоз с обязательной выдачей паспортов всем работникам, подались в тот же Терман.

У них я бывал реже, чем у Валентина, оттого и воспоминаний меньше. Главной заботой и проблемой семьи стал сын Саша, смысленный и неугомонный. Два эпизода из его жизни в пятилетнем возрасте.

Он гуляет с дружкой своим и ровесником Юрой. На пути огромная лужа. Друзья встают в нерешительности и раздумье. Саша быстро находит выход:

– Давай перейдем её прямо посередине, только ты первым.

Юра храбро вступает в воду, бодро шагает вперед и, только оказавшись в воде по пояс, оглядывается назад:

– Давай и ты.

– Не-е, – отвечает Сашка, – я подожду, пока высохнет.

Сашка просит игрушку и для большей убедительности падает на пол, кричит и трясется, чем окончательно выводит мать из себя. Галина в запальчивости рывком поднимает сына с пола и поддает ему под зад. Разобиженный Сашка валится на диван. Тут входит бабушка по отцу. У неё от старости постоянно трясется голова. Сашка перестает плакать, смотрит на бабушку, потом кричит ей:

– Баба, не трясись, а то и тебе попадет.

И еще один эпизод. Его любили не только в семье, но и все вокруг, ласково называя Саня, Санёк... И вдруг однажды кто-то называет его Шурой. Он к матери:

– Мам, мне так нравится, когда зовут Шура.

– Не дорос ты еще до Шуры, – сердито отвечает мать. – Санек, самое то для тебя...

Разговор окончен, но, оказывается, не совсем. Через несколько дней матери жалуются, что он ударил девочку.

– За что? – спрашивает мать.

– Пусть не дразнится, – насупившись, бурчит Сашка.

– Как она тебя дразнила?

– Саня-Санёк...

У Николая есть брат Михаил, моложе его на несколько лет. Он шофер, и неплохой. А по деревне и вовсе золотой: не пьет, не курит, всегда побрит и подтянут, к тому же не женат. А уж аккуратист, каких поискать. Какая бы грязь на улице ни была, Миша пройдет, не запачкав ботиночек. И такое золото пропадает в татищевской глуши?! Девчата откровенно смеются:

– Ты что, Миша, совсем больной?

– В каком смысле?

– На голову!

– Почему?

– Чего в «Терман» к брату не подашься или, еще лучше, в Ярославль?

И он подался, не сразу, нет. Долго тянул, никак не хотелось ему расставаться с деревней. Но и предметом насмешек оставаться не хотелось. Жить стал у нас, спал на раскладушке, которую поутру аккуратно собирал и ставил за кровать.

Работать устроился на ликеро-водочный завод, развозил готовую продукцию по магазинам. Каждый вечер приносил домой несколько бутылок водки.

– Откуда? – спрашиваю.

– Так это, елы-палы (присказка у него такая), завмаги дают, с каждой ездки две бутылки можно списать на бой. Вот и списывают, елы-палы.

После чего он надолго замолкал, утомленный чрезмерным, по его мнению, разговором. Молчун, каких поискать. За целый день, бывало, слова не вымолвит. А спрашивать станешь, отделяется лаконичными «да» и «нет». Когда я при встрече со старшим братом Николаем упомянул об этом, тот лишь вздохнул:

– С детства такой. С работы уже взрослый приедет на обед, руки вымоет, сядет за стол и ждет, когда накормят. Мать иной раз специально сделает вид, будто не понимает, чего он ждет. Так он, отсидев обеденное время, встанет и так же молча уедет голодным.

Очень интересный парень – Миша. Коренастый, крепкий сложением и почти лысый. Это сейчас модно ходить с голым черепом и даже сниматься в кино. Тогда лысый молодой считался вроде больного. Может, потому гулять не ходил. Друзей не имел. Водку, которой под кроватью заполнил все пространство, не пил. Стал читать. Я специально для него взял «Три мушкетера». Книга понравилась.

– Ёлы-палы, интересно-то как, – отзывался на мои расспросы.

За зиму прочел почти полкниги. Зато каждый абзац мог пересказать почти дословно. Говорил, что никогда не читал столько и сразу.

Женился неожиданно и для нас, и для родни. Вдруг сразу, без лишних разговоров, засобирался.

– Куда ты, Миша?

– Так, елы-палы, женился.

– Как это?

– Да фиг его знает, елы-палы, расписались уже.

Уж где и как познакомился и тем более сошелся с будущей женой, никому никогда не рассказывал. Я потом бывал у них в Брагино. Она моложе его лет на пятнадцать, очень стройная, миловидная, рядом с ним вообще красавица. Но с маленькой дочкой. Для Миши это не препятствие. И правильно. Она быстро родила ему сына. Так и жили в любви и согласии при полном его молчании. А что? Молчание – золото!

Из прекрасного пола рода Осиповых ближе всех была Шура, Александра Николаевна, моложе Валерки на год или чуть больше. Но, конечно, не сразу стала такой. Долгое время была просто долговязой и какой-то болезненной. Все время то кашель, то сопли, то живот. Такой закончила школу, такой же училась в Великосельском сельскохозяйственном техникуме по специальности «птицеводство».

И вдруг в одночасье предстала красоткой на диво всем. Не в мать и уж тем более не в отца рослая, она единственная в семье по-настоящему красива. На сохранившихся фотографиях отдаленно напоминает известную киноактрису Марию Шукшину.

Уж не припомню, там или по окончании техникума, приобрела своего красавца-мужа, вместе с которым уехала по распределению на Алтай. Оказались в совхозе, основную массу жителей и работников которого составляли наши русские немцы. Они и в России, в самой глубинке её, оставались немцами. Отсюда порядок, достаток, чистота. Слава – парень трудолюбивый, веселый и компанейский. Но среди массы добропорядочных фрицев умудрился-таки найти себе подобных весельчаков и стал пить-попивать, детей наживать... Двоих нажили, и оба парни.

Чтобы спасти Славку от пьянства, вернулась Шура в Малитино. Оттуда скоро перебрались в Семибратово, где оба устроились на завод. Беда, как всегда, пришла неожиданно и там, где её совсем не ждали. Заболел старший сын, положили в больницу, его вылечили, но одновременно заразили золотистым стафилококком. В конечном итоге парень обезножел и на улицу уже не выходил, ограничиваясь ползками по дому. А голова-то золотая. Учился только на пятерки, хотя и не мог посещать школу, учителя приходили домой. И все в один голос говорили, что парню надо учиться дальше. А как, если даже на коляску инвалидную денег нет? Может, оттого и Славка старался реже бывать дома, возвращаясь поздно, не совсем трезвым. Однажды летом, рыбака в местной речке, утонул.

Сердце у Шуры разрывалось от горя. Она на глазах постарела.

А меня до сих пор гложет чувство большой вины перед ней. Шура бывала у нас, пусть не часто, зато с ночевками. Особенно зачастила она во время учебы в техникуме. Как-то раз

мать предложила мне прогуляться с ней, чтобы «как следует» показать город. Мы отправились. Шли не под руку и не за руку, а на небольшом расстоянии. Причина глупая до невозможности. Я уже учился в институте, чем немного задавался. В тот раз отправился в джинсах, ярких нейлоновых носках и немецкой рубашке навыпуск, расписанной под газету. Пижон, и только. Шура приехала в стоптанных старых туфлях, тусклой безразмерной юбке и какой-то кофте, смахивавшей на плюшевую тужурку – изделие самодеятельной сельской портнихи. В ту пору портнихой являлась не та, у которой вкус к шитью, а та, у которой своя швейная машинка в наличии. Кроили на старых газетах из такого же довоенного старья. И главное было не в фасоне или красоте, а в прочности, «чтоб износа не было»... И если нитки оказывались слабыми, ставили двойной шов, и неважно, что те швы тянуло. Вещь получалась прочная и неприглядная. Шура для поездки в город принарядилась, надо полагать, в лучшее из имевшегося, но лучшее для деревни.

Я откровенно стеснялся её наряда, и мы шли по городу, разговаривая, но не соприкасаясь. Так продолжалось, пока не вышли на набережную. Там на одной из скамеечек отдыхал в обеденный перерыв бывший мой сосед Григорий Залманович Певчин с коллегой-сослуживцем по Дому офицеров. Я радостно подошел к ним. Шура осталась у решетки.

– С кем это ты разгуливаешь? – спросил Григорий.

– Да так, родня деревенская, не обращай внимания...

Глаза Григория покрыла хорошо знакомая желтизна злости. Его неискоренимая жажда справедливости взыграла:

– А сам ты кто? Городской! В каком поколении? Да мы все из деревни родом. Уходи, видеть тебя не хочу...

Я отступил к решетке, покрасневший до кончиков волос. Шура, видимо, слышала громкую отповедь Григория.

– Хватит, пошли домой, – решительно прервала она наш променад.

Сейчас понимаю, как ей неудобно было и за себя, и за меня. Я же тогда и стыдился, и обижался. Так до самого дома и промолчали. Больше она к нам не приезжала, так велика оказалась нанесенная мной по дурости обида. Теперь и рад бы покаяться, да не перед кем.

Третья двоюродная сестра Евгения в деревне также не задержалась и, едва достигнув паспортного возраста, упорхнула туда же в Семибратово, правда, в район Газоочистки. Женя отличалась склонностью к загулам и многодетностью при полном отсутствии хотя бы временных мужей. Как многосемейной, ей предоставили в новом кирпичном доме огромную четырехкомнатную квартиру. Денег всегда не хватало, особенно на квартплату. Все Осиповы, как могли, помогали. Но не уберегли квартиру. Даже в те социально защищенные советские времена ей было предложено освободить шикарную квартиру, так и не обустроенную за много лет проживания, и переехать в менее комфортную двухкомнатную хрущовку.

Последними в ряду были Володя и Коля. Вовка с детства крайне медлительный и нерешительный. Смотреть на него, когда он делал уроки, было мучительно. Взяв ручку, он надолго задумывался о чем-то, чесал затылок, сморкался, зевал и только затем писал первые слова заданного упражнения. Но еще мучительнее видеть, как он ест. Обед его затягивался на полчаса и более. При этом не ел мясного, овощного, молочного.

– Чем же кормить тебя, ирод? – кричала тетушка.

Вовка молча пожимал плечами. В остальном – обычный деревенский паренек, сообразительный, склонный к юмору, со слухом и голосом. Он жил у нас, пока учился в строительном училище. Служить довелось в танковых войсках на границе с Норвегией. В танке застудил уши и страдал от этого до конца недолгих дней своих.

После армии вновь вернулся к нам. Вскоре женился. Избранница – продавщица из винного отдела по имени Люся, деваха, несообразно долгая во всем, от фигуры до вытянутой лошадиной физиономии, нагловатая, виды выдавшая, значительно старше его, наудачу выло-

вившая мальчика скромного и стеснительного. Она – первая его любовь и, как потом оказалось, последняя. Уж чем она покорила его, не знаю, но только не продукцией своего отдела, Вовка до армии не пил совсем, да и, возвратившись, мог только в компании употребить немного. Соблазнила, скорее всего, своевременно предложенной плотью, не ахти какой, но живой и теплой. Тепла того хватило не только до загса. Мамаша Люси, бабенка разбитная, продавщица комиссионного магазина, и по виду и по сути законченная спекулянтка, активно участвовала в охмуреже.

Вовка, в людях не разбиравшийся совершенно, ходил сияющий и счастливый. Ну, как я мог разрушить это сияние? А Вовка приходил очарованный мамашей и невестой:

– Дядя Коля, знаешь, мать нам на свадьбу дарит раскладной диван. Вещь!

Тем диваном и покорили они его окончательно. Первое время жили у немолодой супруги. Но недолго. Мать скоро предложила им подыскать себе жилье, потому что у неё появился свой очередной кавалер. Из-за жилья они уехали в поселок Дубки, где он стал работать в парниках местного хозяйства, она – в поселковом магазине.

У Люси моментально появилось множество знакомых, преимущественно противоположного пола. Застолья стали постоянными, постепенно и неизбежно втягивался в них и Вовка. А куда деваться, если на всех одна комната? Не приспособленный пить, Вовка пьянел моментально и настолько, что валился с ног и засыпал тут же, у стола, на полу. А на кровати тем временем располагались Люся с застольником.

Так на полу и умер однажды. Вызвавшая «скорую» и милицию Люся объяснила происшедшее так: мол, вышла к подруге, а вернувшись, нашла мужа мертвым. Милицию объяснение удовлетворило, и дело закрыли «за отсутствием состава преступления», несмотря на очевидные несообразности в изложении происшедшего.

Колька – «последыш», общий любимец и в детстве, и во взрослой жизни. Он заметно выделялся в семье целым набором разнообразных качеств. Еще в детстве всех поражал густо заросшей волосом спиной. Я, бывало, обнимая его, приговаривал: «шерстяной ты наш». В ответ Колька смеялся. Мне иногда кажется, что он не умел плакать, и рыдающим видеть его не довелось, хотя общались много и часто, он тоже какое-то время жил у нас.

В армии ему довелось служить в погранвойсках на южной границе. И там быстро выделился, став то ли поваром, то ли каптенармусом...

Он, пожалуй, самый способный из семьи и в чем-то даже талантливый: прекрасно рисовал и пел, великолепный рассказчик и вообще человек, для которого не было ничего невозможного. Как-то заинтересовавшись устройством часов, моментально освоил технику и технологию часового производства, и с тех пор все соседи с часами тащились к нему. Он помогал. Благодарили традиционно для нашей деревни, потому что пить научился рано, именно научился, ибо в стельку пьяным увидеть не приходилось.

Позже переехал к брату в Дубки. Устроился рабочим на птицефабрику, женился на почтальонше, растил детей. Связи наши оборвались неожиданно и, как оказалось, навсегда. И последние лет двадцать ничего о нем не знаю.

### **Братик, друг сердечный**

Следующим после Галины по старшинству шел Валерка. Каждое лето точно так же, как в пионерский лагерь, на месяц-другой отправлялся я в деревню, и не на хлебником. Мы с Валеркой работали в колхозе за полтрудодня, с двоих – полный трудодень в общую копилку Осиповых.

Что делали? Поначалу, совсем малые, пасли телят. Дело не столь простое, каким кажется. Во-первых, в начале лета, отощавшие в зимнюю бескормицу, телята качались на ходу, и их с утра приходилось отпаивать молоком, оставленным в ведрах после вечерней дойки. Во-вторых,

телята тяжело переносят жару и сопутствующих ей оводов и паутов. От них прячась, они способны забраться в такие дебри, что не сразу и вытащишь каждого. В-третьих, их, как магнитом, тянет на клевер, чего допустить категорически нельзя. Коровы едят впрок, то есть вначале набивают себя под завязку, а потом лежат и перемальвают поглощенное. Так вот клевером, особенно мокрым, они способны обожраться «в усмерть». Потому особый пригляд в погоду пасмурную.

Наша корова Милка перебрала мокрого клевера. Домой со стадом еле приплелась. Тетка Надя, увидев её, запричитала криком:

– Отец, беги скорей, с Милкой беда.

Николай Васильевич из окна горницы, взглянув на общую поилницу и кормилицу, метнулся во двор, выскочил с вожжами и погнал корову к конюшне. Там, пустив её в загон для жеребят, начал хлестать вожжами, заставляя бегать по загону. Это надо видеть! По кругу, задрав хвост, носится, как угорелая, пузатая корова, из-под хвоста, как из крана, хлещет пенящая зеленая масса, дядя уворачивается, чтобы она не пальнула в него, но удается не всегда, он, матерясь, обтирается и продолжает хлестать любимицу. Через полчаса следует команда принести шило. Мы бежим с Валеркой что есть мочи, нутром чувствуя: медлить нельзя. Минуты через три примчались с шилом. Николай Васильевич выхватывает его и с ходу всаживает по самую рукоять под низ брюха коровы. С шипением и свистом из прокола хлещет кровь, но брюхо опадает на глазах. Все вздыхают с облегчением: корова спасена.

Утром, явившись в телятник, мы первым делом прямо из ведра пили молоко, даже не молоко, а отстоявшиеся за ночь сливки, остатками поили телят, после выгоняли стадо. К обеду, когда наши подопечные с полным пузом укладывались на землю, чтобы не спеша переварить потребленное, мы забирались в самую середину и залегали в телячьем тепле и ласке. Закуривали и дымили, к чему телята быстро привыкли и на табак не обращали никакого внимания.

Лет, наверное, в тринадцать мы стали молоковозами. Наши обязанности: после обеденной летней дойки прямо в поле собрать бидоны с молоком, погрузить их на телегу и отвезти на молокоприемный пункт, располагавшийся в Макарове, что впереди Семибратова по Московской дороге. Не понимаю сейчас, как сил у нас хватало те бидоны на телегу затаскивать, а по приезде снять их и тащить в молокоприемный пункт. Однако не бидоны утомляли. Кобылка досталась нам своенравная, на мат и кнут не реагировавшая. Более того, могла и лягнуть в дороге, и куснуть при затягивании хомута. К тому же старая и слабосильная. Так и бидонов не больше десяти. В Макарово она тащилась, словно на кладбище, а домой споро и даже переходя на неровную нервную рысь, с какой-то дрожью. Месяц, пожалуй, мы промучились с ней. А когда я уехал в Ярославль, чтобы еще и пионерского лагеря ухватить, она умудрилась из-под телеги лягнуть Валерку в руку. В результате сложнейший перелом.

Наш совместный бой за «трудодень» прекратился с моим поступлением на комбинат «Красный Перекоп». В дальнейшем вместе мы, в основном, отдыхали. Он приезжал к нам на советские праздники.

В один из них седьмого ноября мы полученные на гулянье деньги целиком истратили на мороженое. Съели его очень много. Он отделался простудой, я – затяжной ангиной. В конечном итоге это привело меня в ЛОР-отделение областной больницы, где мне удалили миндалины. Не знаю, как сейчас происходит операция, тогда – зверски. На больную миндалину накладывалась металлическая петля, и пораженный орган вырывался из глотки. Не стану говорить об адской боли, серьезнее явилось обильное кровотечение. Я лежал с полотенцем у щеки, на него непрерывно стекала изо рта кровь. Сочилась и днем, и ночью, и ничего врачи поделать не могли. Утешали тем, что у всех, мол, так. Пройдет. Но не проходило. Я слабел.

Четвертый день пребывания в больнице пришелся на Пасху. Со мной в палате лежало трое взрослых. Одному из них, председателю отдаленного колхоза, привезли по случаю праздника рыбу в кляре и бутылку водки. Бутылку разлили сразу. Один старичок компанию не под-

держал. Полагаю, что мне предложили из приличия. А я не отказался и свой стакан хряпнул, морщась от дикой боли, залпом. Слава богу, рыбой не стал закусывать. И моментально уснул. Проспал до самого вечера, проснулся с приходом дежурного врача. Полотенце сухое. Врач подозрительно посмотрел, но ограничился замечанием: странно, мол. Понимая, что дело не в лекарствах, а в водке, продезинфицировавшей раны и заставившей кровь свернуться, я промолчал.

Если Валерка гостил у нас в праздники советские и просто выходные, то я навещал их в праздники престольные и на каникулах. Повезло с тем, что в деревнях нашей родни: Гвоздеве, Татищеве, Козлове, Новом – праздники не совпадали. Было когда разгуляться. Ходили по родне, знакомым родни, друзьям знакомых. Пили самогон, пели песни, рассказывали анекдоты, просто болтались по деревенскому проселку.

Даже фотографировались. На одной из редких уцелевших фотографий я в центре какой-то компании, единственный при галстукке, в очках и почему-то в шляпе. Откуда она, если столь изысканных головных уборов сроду не носил? Наверное, чтобы полнее соответствовать тогдашней характеристике подобных субъектов: «еще в очках», а тут добавится «еще и в шляпе». Где взял? У кого взял? В общем, как у Высоцкого: «помню только, квартира с обоями»... И еще помню, что сельские красавицы на городской мой прикид реагировали соответствующе. Потому нередко происходило выяснение отношений, типа «а кто ты такой!» Здесь вся надежда на братика, не дававшего меня в обиду.

Вечером шли на танцы. Редкие из них обходились без драки с кольями и мордобоя. Нередко зачинщиком либо виновником их был мой Валера. Он имел привычку не уходить с гулянки не подравшись. Бил он или его, но тащить домой приходилось мне. Это, как минимум, три-пять километров ночью в полном мраке с моим-то зрением! Домой приползали часа в три утра. Не стучались, знали: для нас в горнице открыто окно. Забирались через него. На столе под полотенцем обязательно каравай черного домашнего хлеба и полная кринка молока. Молча в темноте выпивали, заедали и валились спать.

Вся жизнь брата оказалась связанной с механизаторами совхоза «Макаровский». С ними делил он радости, с ними же переносил неудачи. Он не представлял своей жизни в отрыве от них и от земли. Вырос в деревне, после семилетки сразу взял лошадь. Наравне со взрослыми бороновал, работал на конных граблях, косил, подставлял осенью спину под мешки с картофелем и зерном.

Рано повзрослел и окреп. Когда отправлялся на действительную службу в армию, выглядел значительно крепче своих сверстников. Те, глядя на его мускулы, спрашивали:

– Спортом занимаешься?

– Нет, – отвечал, – покидаешь вилами сено-солому недельки две – хоть в братья Жаботинскому записывай!

В деревне принято: из армии пришел – значит, пора жениться, семьей обзаводиться и остепениться. Нагулялся, хватит!

Избранница его жила в небольшой деревеньке с названием, кажется, Козлово. От Малитина километров десять-двенадцать. И мы ходили. Галя – девушка крепенькая не только физически, но и характером, быстро прибрала моего братика-неугомона к рукам. Он даже, уступая её требованию, реже в рюмку стал заглядывать, пил через раз: то есть с ней – нет, без неё – да. Девка она решительная и строгая. Он ездил к ней на велосипеде и на танцы в соседнее село возил её на раме того велосипеда, что не по ней, с рамы спрыгивала и шла обратно пешком.

– И ни за что не сядет, зараза, – жаловался мне Валерка.

– Ну, и плюнь, – советовал я.

А что еще сказать?

– Нет, любя она мне...

Он мог иногда так выразиться, что завидно мне, филологу, становилось. А ведь образование-то хилое. Не пришлось ему учиться после семилетки. Разве годичной школы механизаторов достаточно? Конечно, нет. После службы в армии, уже будучи семейным, решил восполнить пробел. Думаю, тут Галя настояла. Она сама заочно училась в сельхозинституте, ну, и его подпрыгла. О ней даже областная газета «Северный край» упоминала.

Рабочие в мастерской подшучивали над ним:

– За женой гонишься.

– Можно и так сказать, – отвечал с улыбкой.

Но шутки шутками, поступил меж тем в Ростовский сельхозтехникум на отделение механизации сельского хозяйства. В совхозе, зная его работоспособность и преданность селу, пошли навстречу. Стал он совхозным стипендиатом, это какая-никакая, а все же прибавка в семейный бюджет.

Не видел, как время летело: вроде давно ли сдавал экзамены, работал в мастерских, проходил практику в своем же совхозе, а, глядь, уже дипломное проектирование. Как только темы предложили, он выбрал для хозяйства самую насущную: «Технология возделывания картофеля». Дело сызмальства знакомое, можно сказать, родное.

С тех пор, как получил в свое ведение колесный трактор, так и стал картофелеводством заниматься, стаж солидный накопился. Мечта у него была – полностью механизмами картофеля возделывать, а не на девять десятых, как до сей поры делалось. Он в том дипломном проекте не просто мысли свои и соображения по этому поводу изложил, но и обосновал их.

В хозяйство возвратился дипломированным специалистом со своим взглядом на существующие проблемы. Его сразу назначили бригадиром тракторной бригады.

В первой его самостоятельной посевной в той должности ему подчинялось без малого три десятка человек, порой гораздо старше по стажу и возрасту. Но приняли руководителем безоговорочно, потому как свой и с авторитетом настоящего «работяги».

Техники немало. Надо толк всему дать. Со своим неугомонным характером совсем извелся Валерий. Хотел у каждого агрегата побывать, целыми днями мотался на стареньком мотоцикле «ИЖ», пыли набирался. Посевная масштабная: 1100 гектаров требовалось посадить, только успевай разворачиваться до самой осени...

Каждую весну бригада пополняется новичками. Для них такая весна – первая трудовая, как для него когда-то, зеленого курсанта в фуражке с молоточками. Он, помня, как нужны были ему советы опытного, старшего товарища, им, новичкам, уделяет особое внимание, на них, новичков, тратит времени более, чем на других. Вместе с ними копается в моторе, определяя поломку, одновременно помогая и устранить ее.

Все-таки трудовая школа позади такая, что позавидуешь: к новой своей должности приступил человеком зрелым, вволю поработавшим на тракторах самых разных марок. День рабочий не регламентирован, не уместить его в привычные 8-10 часов. Потому и дома бывает редко, хотя добрый старый «ИЖ» может домчать до Гвоздева за 10—15 минут. Утром глянет на спящую дочь, вечером – то же самое. До возвращения отца успеет она и уроки выучить, и набегаться вволю.

Тракторная бригада, которой руководил он, неоднократно завоевывала первенство в социалистическом соревновании, а это легко не дается. В совхозной конторе имя его, в сущности, совсем молодого человека, произносят с уважением. Не за один только труд от всего сердца окажут человеку доверие, выдвинув кандидатом в депутаты областного совета. Ему оказали и избрали совсем молодым. Он, как мог, старался оправдать это доверие.

Приезжая на сессии областного Совета, всегда останавливался у нас. Я не раз говорил ему, мол, перебирайся в город. Он вздыхал и отрицательно качал головой:

– Город не для меня. Мне здесь душно и тесно. То ли дело в деревне, там, как в басне, под каждым мне кустом уж готов и стол, и дом...

Особо я и не уговаривал, понимая деревенскую душу его, и радовался за него, за то, что хоть один из Осиповых младших счастлив. Но испытания ждали нас впереди. Годам к сорока его стали мучить сильные головные боли – прямое последствие падения в силосную яму. Он неоднократно обследовался у специалистов и в Ростове, и в Ярославле, и всякий раз получал неутешительный диагноз: полученная травма не позволяет надеяться на улучшение состояния в будущем. Лечение способно лишь приостановить дальнейшее прогрессирование заболевания мозга.

Сильнейшие боли он гасил традиционно по-русски: с помощью алкоголя и табака. Усиливались боли, увеличивались дозы выпитого и выкуреного. И вдруг звонок:

– Коля, Валера в областной онкологической больнице. Нужна твоя помощь...

– Какая, Галя?

– Мне кажется, врач что-то темнит. Сходил бы и поговорил с ним. Ты все-таки в медицине трудишься.

– Хорошо. В какой палате Валера?

В этот же день я увидел его. Такой же рыжий вихор на голове, улыбающиеся глаза, только чуточку похудевший, что нисколько не портило облик. На нем ничего больничного. Мы ушли в коридор и долго-долго говорили, перебивая друг друга, и все не могли наговориться. Как мог, успокаивал, хотя у заведующего отделением узнал, что практически брат обречен: рак в последней четвертой стадии.

Все время, пока он лежал, я виделся с ним. В канун Первомая он уговорил меня обратиться к лечащему врачу с просьбой отпустить его на праздники домой. Согласие получил при условии, что уже второго мая, крайний срок – третьего он вернется на больничную койку. Он, как я в душе и предполагал, не вернулся. Последние дни он хотел провести дома.

– Ты знаешь, – говорил он накануне, – дома, брат, выйду во двор, гляну в поле, и так легко делается, так легко дышится, даже курить не столько хочется, как здесь...

Я смотрел на него, осунувшегося, посеревшего лицом, и вспоминал первую нашу встречу в августе далекого 1948 года. Мы такие разные: я – безынициативный дохляк, и он, неутомонный, здоровый, веселый, всегда с какой-то каверзой в запасе...

Его похоронили на гвоздевском кладбище, где уже упокоились отец и мать.

Я лишился самого близкого человека. Конечно, нет никого ближе матери, но быть с ней предельно откровенным я никогда не мог, а с ним мог.

Прощай, братик мой дорогой...

### *Мучительный первый класс.*

Мои деревенские одноклассники: Валька Посадсков, Венька Грязнов, Левчик «сопливый». С ними пошел в первый класс. Школа в соседнем селе Татищев-Погост, или, как говорили местные, в Татищеве, от деревни километрах в пяти. Это сейчас для ребят организуют школьные автобусы, в послевоенную пору даже о телеге мечтать не приходилось. И мы группой человек в тринадцать-пятнадцать «мотались» каждый день туда и обратно, протопывая с нашими заходами на соседние поля километров этак десять. Долго, зато весело. Вместе с ребятами из старших классов, включая соседних «гвоздевских», набиралось человек до тридцати. Рвали на полях горох, вытаскивали турнепс, жевали, орали, дурачились и в школу нередко опаздывали. Но не это главное.

Я после своих детских хворостей ходил неважно, то есть передвигался нормально, не хромя, не припадая и не падая, но медленно и потому плелся обычно позади. Валерка тащился рядом, как брат, которому наказано приглядывать за «городским». Темпа моего он часто не выдерживал и убегал вслед за развеселой ватагой.

Все бы ничего, да подступала зима, и я страшился оказаться на пустынной дороге одинешенек. А когда однажды в начале декабря поутру впереди на дороге показался волк,

смотревший на нас совершенно не боясь и убежавший, лишь когда ватага приблизилась метров на сто, стало совсем уж худо.

Отчетливо вижу себя совсем маленького и одинокого. Я пробираюсь полузаметенной дорогой в бескрайнем заснеженном поле, где огоньки родной деревни еще так далеко. Бреду на слабых заплетающихся ногах, весь в соплях и слезах, полный обид и зла на брата, на одноклассников, на весь белый свет. И уж какие там уроки, какие знания, если на уме одно: скорей бы домой, где в теплой избе ждет тебя какой-никакой обед и полная тепла с тараканами печь.

Если по утрам мы шли более или менее дружной, единой гурьбой, то после уроков ребята возвращались кто как мог, стремясь быстрее попасть домой. Уже не все вместе, а по двое, по трое, а то и в одиночку. В школе никаких завтраков не полагалось, а те две серые колобахи, что по утрам клали нам в заплечные мешки (наподобие нынешних рюкзаков, только поплоче, да и сшитых вручную), мы съедали еще поутру. А после уроков есть хотелось жуть как! К тому же нередко случалось, что оставляла учительница и после уроков, добиваясь выполнения задания.

На фотографии, сделанной в самом начале учебы, мы всем классом стоим в три ряда у бревенчатой стены нашей одноэтажной, видимо, еще церковно-приходской, школы. Впрочем, «стоим» не совсем точно сказано: первый ряд, по традиции тех лет, полусидит, полулежит. И, господи, как же плохо мы одеты! Все наши пальтишки перешиты из материнских либо отцовских обносков, у редких счастливиц имелся воротник из какого-никакого меха. Ни о каких шарфах и понятия не имелось. Удивляет, что с братом мы стоим не просто врозь, а в разных рядах. Скорее всего, фотограф так расставил. В центре – учительница. Стыдно признаться, но совершенно не помню своей первой учительницы ни в лицо, ни по имени. Хотя вроде бы помнить должен, потому что оценки она ставила как-то непонятно, особенно за чтение. Как и по большинству других предметов, тут я имел твердую и постоянную двойку.

Что касается прочих дисциплин, то неудовлетворительная оценка вполне заслужена, ибо домашних уроков мы с братом не делали. Из школы возвращались поздно и, наскоро поев, бежали на улицу, «пока светло». Когда затемно возвращались домой, то уроки делать поздно, ибо свет – это керосин, а он стоит денег, которых в послевоенной ярославской деревне не водилось, ну, разве что за редким, мне неизвестным исключением. У тетушки же моей их не было никогда, и, чтобы купить что-то из продукции магазинной вроде соли и сахара, везла на базар молоко. Поэтому, как только мы раскладывали на столе свои тетради, то слышали неизменно:

– Меньше шляться надо, вон Галька (это старшая сестра) уже все уроки сделала. Неча лампу палить. Полезайте на печь!

Уговаривать не требовалось. Сопротивления с нашей стороны никакого. Неча так неча! И мы забирались на теплую печь, где скоро и засыпали, вопреки усилиям многочисленных клопов и тараканов. В школу на другой день являлись с уроками несделанными или сделанными впопыхах, во тьме и кое-как. Но вот что было непонятно ни мне, ни тетушке моей, не говоря уж о матери: в первом классе, когда все мои сверстники «бекали» и «мекали», складывая буквы в слоги, а слоги в слова, я читал довольно бегло. И к тому же знал много стихов, в частности, полностью лермонтовское «Бородино». Ясно, что учительница ставила двойку за чтение автоматически, дабы положительной оценкой не портить ряд из сплошных двоек.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.